

Джоанн Харрис возвращает читателей в мир «Шоколада»



ДЖОАНН ХАРРИС

БЛАЖЕННЫЕ

Магия жизни

Джоанн Харрис

Блаженные

«ЭКСМО»

2003

Харрис Д.

Блаженные / Д. Харрис — «Эксмо», 2003 — (Магия жизни)

ISBN 978-5-699-62858-2

Бродячие артисты. Шуты, юродивые. Самые вольные и самые уязвимые люди на земле. Они ни от кого не зависят, в их воле заставить зрителей замирать от страха и смеяться. Но их никто никогда не защитит от сильных мира сего. Жюльетта была одной из них – с детства выступала на базарных площадях, бесстрашно танцуя на канате, за что и получила прозвище Небесная Плясунья. Статная, красивая, независимая, она привлекала мужчин. Но ее сердце было отдано тому, кого она хотела бы забыть раз и навсегда. Тому, кто принес ей одни страдания и разочарования. Тому, кто предавал ее много раз. Он чертовски умен и хитер и не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Но чего он хочет? Ради чего затеял очередную опасную игру? Жюльетте надо разгадать эту тайну – на кону жизнь ее маленькой дочери, а ее она любит больше всех мужчин, вместе взятых, и даже больше жизни...

ISBN 978-5-699-62858-2

© Харрис Д., 2003

© Эксмо, 2003

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть I. Жюльетта | 6 |
| 1. 3 июля 1610 | 6 |
| 2. 4 июля 1610 | 9 |
| 3. 7 июля 1610 | 12 |
| 4. 8 июля 1610 | 13 |
| 5. 9 июля 1610 | 16 |
| 6. 10 июля 1610 | 20 |
| 7. 12 июля 1610 | 24 |
| 8. 13 июля 1610 | 27 |
| 9. 14 июля 1610, Эпиналь | 30 |
| 10. 16 июля 1610 | 34 |
| 11. 17 июля 1610 | 40 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 44 |

Джоанн Харрис

Блаженные

©Ахмерова А., перевод на русский язык, 2012

©Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть I. Жюльетта

1. 3 июля 1610

Все началось с бродячих артистов. Их семеро, шесть мужчин и девушка; она в блестящих и рваном кружеве, они в шелку и перьях. На каждом маска и парик, лица напудрены и раскрашены – Арлекин, Скарамуш и длинноносый Чумной Доктор, скромница Изабель и распутник Жеронт. Босые ноги в дорожной пыли, зато ногти сверкают золотом, улыбки грубо намалеваны, а голоса так сладки и пронзительны, что у меня замирает сердце.

Незванные и неожиданные, явились они в зеленой повозке с позолотой; на ее помятых боках еще читалась горделивая алая надпись:

«Всем известная труппа Лазарильо!

Трагедия и комедия!

Дикое зверье и чудеса!»

Вокруг надписи резвятся сатиры и нимфы, слоны и тигры, лиловые, розовые, малиновые. «Любимцы короля!» – намалевано чуть ниже кичливыми золотыми буквами.

В это мне верилось с трудом, хотя поговаривали, что у старика Анри простецкий вкус и изысканным трагедиям он предпочитает комедии-балеты и представления с диким зверьем. В день венчания короля я сама танцевала пред ним под строгим взглядом его любимой Марии. То был мой звездный час.

Труппа Лазарильо нам не чета, однако представление разбредило мне душу с силой, на которую посредственные лицедеи и надеяться не могли. Предчувствие ли тому виной или тоска по временам, когда мрачные шакалы инквизиции еще не запретили нам радоваться жизни, но, глядя на танец, на пестрые костюмы, задорно мелькающие под ярким солнцем, я словно видела знамена древних армий, горделиво шествующих по полю боя в знак неповиновения малодушным отступникам.

Надпись на повозке сулила дикое зверье и чудеса, а в труппе были только мартышка в красном жилете да небольшой черный медведь. Зато, кроме представления в масках, мы увидели пожирателя огня, акробатов, музыкантов и даже плясунью на канате. Восхищенная публика шумела, Флер смеялась, визжала от восторга, и сквозь рясу я ощущала ее порывистые объятия.

У плясуньи темные кудри и золотые браслеты на щиколотках. На наших глазах она прыгнула на канат, который держали Жеронт и Арлекин. Ударили в тамбурины – ее подбросили в воздух, она сделала сальто и приземлилась на канат так же ловко, как когда-то умела я. Нет, почти так же ловко, ведь нашу труппу именовали «Небесный театр», а меня Эйле, Крылатой, Небесной Плясуньей, Парящей Гарпией. В лучшие времена, стоило мне подняться на канат, публика охала и замирала – и изнеженные дамы, и их галантные кавалеры, и епископы, и торговцы, и придворные. Сам король бледнел и не сводил с меня глаз. До сих пор помню его лицо в обрамлении напудренных кудрей, его сияющие глаза и... шквал аплодисментов. Гордыня, конечно, грех, хотя я никогда не понимала почему. Кто-то скажет, что именно гордыня привела сюда меня, гордыня низвергла с прежних высот, хотя в самом конце я вознесусь еще выше. В Судный день я буду танцевать с ангелами, твердит сестра Маргарита, но ведь она, бедняжка, сумасшедшая. Измученная тиком, дрожащая, она превращает воду в вино неведомым снадобьем из склянки, которую держит под матрасом. Сестра Маргарита думает, мне ничего не известно. Но в нашем дортуаре перегородки совсем тонкие, тайну не сохранишь. Разве только мне удается.

Монастырь Святой Марии Морской находится в западной части острова Нуармутье. Несуразный, с деревянными пристройками по бокам и сзади и внутренним двором. Здесь я живу последние пять лет, прежде так долго нигде не задерживалась. Сейчас я сестра Августа, а как меня звали раньше – неважно, по крайней мере пока. Монастырь – единственное место, где можно отрешиться от прошлого. Только прошлое – хворь коварная, переносится и дыханием ветра, и звуками флейты, и ножками плясуны. Спыхватываюсь я, как всегда, поздно, но куда мне идти, если не вперед? Все началось с бродячих циркачей, а где и чем закончится?

После плясуни вышли жонглеры с музыкантами, и сам Лазарильо объявил заключительный номер программы. По двору прокатился его трубный, как у бывшего актера, глас.

– А теперь, милостивые сестры, для назидания и удовольствия, для восторга и развлечения, всем известная труппа Лазарильо представит забавнейшую комедию нравов! – Для пущей выразительности Лазарильо остановился и сорвал с головы треуголку с перьями. – Прямо сейчас и только для вас «Любовь отшельника»!

Над головой пролетел ворон, черный вестник несчастья. По лицу скользнула его злое, тень, и я сделала пальцами магический знак – «рогатку», чтобы прогнать беду: кш-ш, убирайся!

Не помогло. Ворон тяжело опустился на крышу колодца, и его желтые глаза дерзко блеснули. Труппа Лазарильо как ни в чем не бывало готовилась к выступлению. Ворон заговорицы мне кивнул.

Кш-ш, убирайся! Однажды такой «рогаткой» моя мать прогнала целый рой диких пчел. Ворон же беззвучно раскрыл клюв и показал мне тонкий синеватый язык. Страшно захотелось швырнуть в него камнем, едва сдержалась.

Тем временем представление уже началось. Подлый священник возжелал молодую прелестницу. Та укрылась в монастыре, а ее возлюбленный, клоун, решил вызволить красавицу, переодевшись монахиней. Священник разоблачил их и поклялся: девушка достанется ему или никому на свете. Коварным планам помешала мартышка: она неожиданно прыгнула ему на голову, и влюбленные сбежали.

«Забавнейшая комедия» оказалась пресной и монотонной, лицедеи изнывали от жары. Плохи же их дела, раз к нам занесло. Еда и ночлег, большего в островном монастыре не получишь, а если порядки строгие, не получишь ничего. Видно, совсем солоно пришлось им на материке. Бродячим артистам сейчас нелегко. Зато Флер представление понравилось – она хлопала в ладоши и громко подбадривала верещащую мартышку. Рядом с ней стояла Перетта, самая юная из наших послушниц. Вихрастая, с выразительным личиком, она сама напоминала мартышку, а сейчас визжала от восхищения.

Действо заканчивалось: возлюбленные воссоединились, негодяя-священника разоблачили. От жары у меня закружилась голова, и на миг почудилось, что за спинами актеров от света прячется кто-то знакомый. Ошибки быть не могло: только он так держит голову, так стоит и отбрасывает такую тень. Я узнала его, хотя видела не дольше секунды: Ги Лемерль, мой черный вестник несчастья, мелькнул и исчез.

Все началось с бродячих циркачей, Лемерля и крылатого вестника несчастья. «Удача как горная река: то туда повернет, то сюда», – говорила моя мать. Может, пришла пора и нам повернуть, как поворачивается Земля и день сменяется мраком ночи, если верить еретикам. Может, и нет. Циркачи пели, плясали, изрыгали огонь из раскрашенных ртов, строили рожи, резвились, кувыркались, дурачились, под тамбурины и флейту махали ногами с блестящими золотом ногтями, а мне чудилось: на двор наползает мрак, накрывая черным крылом алые юбки, звенящий тамбурин, флейту, верещащую мартышку, шутовские костюмы, маски, Изабеллу и Скарамуша. Медленно совершается очередной поворот, неумолимо приближая наш конец...

От суеверия давно пора избавиться. Предзнаменования остались в другой жизни вместе с «Небесным театром». Только почему спустя все эти годы мне померещился Лемерль? К чему

это? Наваждение прошло, действо тоже закончилось – потные циркачи кланялись и осыпали нас лепестками роз. И ночлег, и провизию они более чем заслужили.

Рядом со мной толстая сестра Антуана бьет в пухлые ладоши. От жары ее лицо покрылось красными пятнами. Я вдруг почувствовала и пыль в ноздрах, и резкий запах ее пота. Кто-то похлопал меня по спине – сестра Маргарита! На изможденном лице восторг и боль, от волнения приоткрылся рот, и дрожат губы. Как мерзко воняют потные тела! «Бра-аво!» – пронзительно, чуть ли не дико закричали сестры, стоящие у потрескавшихся от жары монастырских стен. Полуденный зной растопил сдержанность и чопорность, аплодисменты грянули с безумной силой. «Браво! Бис! Браво! Бис!»

Тут среди восторженных воплей я расслышала совершенно иной. «Наша мать Мария, она...» Безумные крики и жара задушили голос, но вот он снова вознесся над остальными.

Я оглянулась на голос и увидела сестру Альфонсину. Чахоточная монахиня стояла на верхней ступеньке лестницы, что вела в колокольную. Никто, кроме меня, на нее не смотрел. Труппа Лазарильо отвешивала последние поклоны – циркачи раздавали последние цветы и конфеты, пожиратель огня в последний раз изрыгнул пламя, мартышка сделала последнее сальто. У Арлекина потек грим, у Изабеллы, староватой и толстоватой для этого амплуа, помада размазалась до самых ушей.

Сестра Альфонсина все старалась перекрыть монахинь. «Божья кара! – разобрала я. – Страшная кара!»

На лицах монахинь мелькнуло раздражение. Альфонсину хлебом не корми, только дай покаяться и епитимью исполнить.

– Господи, Альфонсина, ну что такое?

Та обвела нас мученическим взглядом и не скорбно, а скорее укоризненно объявила:

– Сестры, наша мать настоятельница мертва.

Воцарилась тишина. Растерянные циркачи смотрели виновато, понимая, что внезапно оказались не ко двору. Музыкант неловко опустил руку, и его тамбурин ответил резким звоном.

– Мертва?

Можно подумать, под нещадно палящим солнцем не умирают.

Альфонсина кивнула, а стоящая позади меня Маргарита тут же завела:

– *Miserere nobis, miserere nobis...*¹

Перехватив изумленный взгляд Флер, я прижала ее к себе.

– Цирк кончился? – спросила она. – Обезьянка больше не спляшет?

– Боюсь, нет, – покачала головой я.

– Почему? Из-за черной птички?

Я испуганно заглянула ей в глаза. Пять лет, а все замечает! Глаза у Флер как кусочки неба – сегодня синие, завтра темно-лиловые, словно грозовая туча.

– Тут была черная птичка, – нетерпеливо пояснила она. – А сейчас ее нет.

Я оглянулась. Флер говорила правду: ворон принес плохую весть и улетел. Отпали последние сомнения: предчувствие меня не обмануло. Спокойные солнечные дни для нас закончились. Маскараду конец.

¹ Помилуй нас, помилуй нас... (лат.)

2. 4 июля 1610

Мы отослали труппу Лазарильо в город. Циркачи уехали обиженные, точно их в чем-то обвинили. Только оставлять их в монастыре было не след: у нас ведь покойница. Из приязни к бродячим артистам всего света я сама отнесла им провиант – сено для лошадей, хлеб, козий сыр в золе, доброго вина – и пожелала счастливого пути.

Прощаясь, Лазарильо окинул меня пристальным взглядом.

– Знакомой ты кажешься, любезная сестра. Не встречались мы где?

– Вряд ли. Я здесь сызмальства.

Лазарильо пожал плечами.

– Слишком много городов перевидал, вот и мнится, что лица у людей одинаковые.

«Знакомое чувство», – подумала я, но промолчала.

– Тяжелые нынче времена, любезная сестра, помани нас в молитвах.

– Всенепременно.

Мать настоятельница лежала на своей узкой кровати. Клянусь, при жизни она не выглядела такой маленькой и хрупкой! Ей закрыли глаза, а сестра Альфонсина уже сменила ее quichenotte² на вимпл, который старушка носить отказывалась.

«Кишнот нас очень выручал, – рассказывала она. – Kiss not, kiss not! – твердили мы английским солдатам, а для пущей убедительности надевали чепцы с жесткими лентами. Кто знает, – в глазах старушки вспыхивал лукавый огонек, – вдруг английские мародеры тут не перевелись? Как мне сохранить свою непорочность?»

По словам Альфонсины, мать настоятельница лишилась чувств, когда копала картошку в поле, а минуто спустя умерла.

«Хорошая смерть, – подумала я. – Ни боли, ни священников, ни суеты пустой». Настоятельница прожила семьдесят три года – необычайно много! – а хрупкой была еще пять лет назад, когда я только появилась в монастыре. Именно она помогла мне стать своей, она принимала Флер... Снова накатила незваная гостья тоска. Настоятельница казалась мне бессмертной, эдаким столпом затворнической жизни. Сама доброта и простота, мать Мария бродила по картофельным полям в юбке и переднике – ни дать ни взять крестьянка.

Картошкой настоятельница гордилась. Земля здесь бедная, почти ничего не вырастишь, а ее картошка ценилась на материке и вместе с солью и маринованным солеросом помогала монастырю себя прокормить. Церковная десятина делала жизнь вполне терпимой даже для меня, свободолюбивой цыганки. В моем возрасте пора покончить с бурями и смятением странствий, тем паче в «Небесном театре» слез было не меньше, чем роз, голода больше, чем сытости, а коли вспомнить пропойц, сплетников и развратников... Но главное, сейчас у меня на руках Флер.

Одно из бесчисленных моих богохульств – непризнание греха. Мне, в грехе зачатой, надлежало произвести на свет свое дитя в скорбном покаянии и бросить среди диких холмов, как дочери моего народа издревле поступали с ненужным потомством. Однако Флер с первой минуты была мне не в тягость, а в радость. Ради нее я ношу красный крест бернардинок, ради нее тружусь на полях, а не танцую на канате. Ради нее посвящаю дни свои Господу, которого мало почитаю и еще меньше понимаю. Только с Флер жизнь мне теперь в уладу, а в монастыре как-никак безопасно. У меня есть сад, книги, сестры. Шестьдесят пять сестер, о такой большой и дружной семье я прежде не мечтала.

² Кишнот (*фр.*), род чепца. Предположительно слово произошло от английского kiss not (не целуй). При помощи таких чепцов во время Столетней войны француженки отбивались от домогательств английских солдат.

Я назвалась им вдовой. Так казалось проще всего: молодая богатая вдова, теперь еще на сносях, я бегу от кредиторов покойного супруга. Для пушей убедительности у меня имелись драгоценности, спасенные с разбитой в Эпинале повозки. Лицедейский опыт сослужил добрую службу: я легко убедила провинциалку-настоятельницу, которая нигде, кроме родных мест, не бывала. Со временем я поняла, что уловки мои напрасны. Мало кто из сестер ощущал призвание служить Господу. Связывали нас лишь потребность в уединении, недоверие к мужчинам да женская солидарность, которые перевешивали разницу в набожности и происхождении. Каждая из нас спасалась от незримых демонов, каждая хранила свои тайны.

Сестра Маргарита, тощая, как крысенок, вечно трясущаяся от нервных расстройств и тревог, приходит ко мне за ячменным отваром, дабы изгнать сны, в которых ее терзает огненнорукий мужчина. Я завариваю ей ромашку с валерианой, сдабриваю снадобье медом. Сама она ежедневно очищается соленой водой с касторовым маслом, но по лихорадочно блестящим глазам я вижу, что кошмар мучает ее до сих пор.

Полная краснолицая сестра Антуана с вечно жирными от готовки руками в четырнадцать лет произвела на свет мертвого младенца. Иные говорят, она убила свое дитя, иные клеймят ее отца, не совладавшего с гневом и стыдом. Но даже чувство вины не портит Антуане аппетит. У нее круглое апатичное лицо, трясущиеся складки на подбородке и живот колесом. Пирог и булки она прижимает к груди, как младенцев, и в полумраке порой не разберешь, кто от кого кормится.

Сестра Альфонсина блее мела, лишь на щеках по красному пятну. Порой она харкает кровью, а в нервном возбуждении находится постоянно. Кто-то сказал ей, что у хворых особый дар, здоровым недоступный. Теперь Альфонсина старательно напускает на себя таинственность и частенько видит дьявола в образе большой черной собаки.

Ну и Перетта: для всех – сестра Анна, а в душе навсегда Перетта. Дикарка, лет тринадцати или чуть старше, она не говорит ни слова. Прошлой осенью, в ноябре, нагой подобрали мы ее на берегу. Первые три дня она не прикасалась к еде и неподвижно сидела на полу кельи, уставившись в стену. Потом начались буйства – размазанный по полу кал, швыряние едой в сестер, которые за ней ухаживали, звериные крики. Одежду Перетта отвергала начисто, нагая вышагивала по ледяной келье, поминутно разражаясь дикими воплями, в которых звучали то гнев, то тоска, то ликование.

Сейчас иной примет Перетту за обычную девочку. В белой рясе послушницы она почти прелестна. Высоким птичьим голоском выводит она наши гимны, хоть и без слов, но самое раздолье ей в поле и в саду – швырнет вимпл на колючий куст, и ветер раздувает длинные юбки. Она по-прежнему не говорит. «С рождения, что ли, немая?» – гадают сестры. Глаза у Перетты с золотым ободком, волосы ей сбрили, чтобы избавить от вшей, и сейчас на голове топорщится светлый ежик. Перетта любит Флер, тоненько воркует с ней, ловкими умелыми ручками мастерит игрушки из тростника и прибрежных трав. Я тоже ей близкая подруга – Перетта охотно ходит со мной в поле и, мурлыча себе под нос, наблюдает, как я работаю.

Да, у меня снова есть семья. У каждой свои демоны, но все мы тут беглянки – Перетта, Антуана, Маргарита, Альфонсина, я, а еще чопорная Пьета, сплетница Бенедикт, лентяйка Томазина, белокурая Жермена с изуродованным лицом, беспокойная красотка Клемента, которая делит с ней ложе, и слабоумная Розамунда – потеряв память и силу грешить, она ближе к Богу, чем любая из нас.

Жизнь здесь легка или была легка покамест. Вдоволь вкусной еды, у каждой свое утешение – у Маргариты склянка и ежедневное очищение, у Антуаны – пироги с булками, а у меня Флер, которая рядом со мной и когда спит в кроватке, и на поле, и на молебнах. Кто-то скажет, вольготность такая пристала праздным селянкам, а не объединенным покаянием сестрам, но ведь монастырь наш на острове. Здесь своя жизнь, и даже Ле-Девэн по ту сторону пролива кажется другим миром. Раз в год на Таинство Евхаристии к нам приезжает священник, а епи-

скопа здесь в последний раз видели пятнадцать с лишним лет назад, когда короновали старого Генриха. С тех пор доброго короля закололи – именно Генрих приказал всем французам раз в неделю есть жареных кур, и стараниями сестры Антуаны этот приказ мы выполняли воистину ретиво, – а его наследник еще бегаёт в коротких штанишках.

Столько перемен! Я их побаиваюсь: горные реки внешнего мира не щадят никого. Пока вокруг смута, а над головой парят черные птицы несчастья, мне лучше здесь, с Флер.

Здесь мы в безопасности.

3. 7 июля 1610

Монастырь без настоятельницы. Страна без короля. Вот уже четыре дня живем мы в той же смуте, что вся Франция. Луи-Дьёдонне, Людовик Богоданный – красивое, сильное имя для ребенка, взошедшего на трон, залитый отцовской кровью. Можно подумать, само имя снимет проклятье или закроет людям глаза на бесчинства церкви и двора, на чрезмерные амбиции регентши Марии. Старый король был солдатом и мудрым правителем, при нем мы знали, чего ждать, а маленькому Луи всего восемь. Со дня гибели его отца не прошло и двух месяцев, а слухи уже поползли: де Сюлли, советник убиенного короля, смещен ради фаворита Марии Медичи. Конде вернулись. Не нужно быть провидицей, чтобы понять: времена грядут тяжелые. Прежде мы на Нуармуте не слишком об этом тревожились. Но нам, как и Франции, нужен надежный лидер, как и вся Франция, мы страшимся неизвестности.

Без матери настоятельницы мы плывем по течению, предоставленные сами себе, и ждем ответа на послание, отправленное епископу в Ренн. Обычная наша праздность омрачена неопределенностью. Тело настоятельницы в часовне, где горят свечи и курятся кадила, ибо лето в разгаре, а в недвижном воздухе смрад. С материка вестей нет, да мы знаем, что путь в Ренн занимает не менее четырех дней. Мы аки судно без кормчего, а кормчий нам нужен: праздность наша перерастает разумные границы. Мы почти не молимся, позабыли обязанности, и каждая предается своей утехе: Антуана – обжорству, Маргарита – питию, Альфонсина – наведению чистоты: снова и снова скребет она полы, ладони в крови, сил нет даже до кельи доползти, а щетку из дрожащих рук не выпускает. Одни сестры плачут безо всякой причины. Другие разыскали циркачей, которые остановились в деревне в двух лье от монастыря. Те сестры вернулись в дортуар поздно – среди ночи услышала я смех, почуяла пряный запах вина и распаленной утехами плоти.

Внешне наша жизнь изменилась мало. В прежних заботах проходят мои дни – я возвращаю травы, веду дневник, вожу Флер к гавани, меняю свечи в часовне у тела нашей бедной настоятельницы. Сегодня утром я молилась на собственный лад – в полной тишине, одна, не взывая к позолоченным святым в нишах. Час от часу растет моя тревога. Душу берedit дурное предчувствие, что посетило меня в день приезда труппы Лазарильо.

Накануне вечером я укрылась в своей спаленке и раскинула карты. Но и карты не принесли утешения. Флер, ни о чем не ведая, спала в своей кроватке, а мне снова и снова выпадало одно и то же – Башня, Отшельник, Смерть. Сны снились тревожные.

4. 8 июля 1610

Монастырь Святой Марии Морской стоит на осушенном болоте в двух лье от побережья. Слева – болота, которые каждую зиму разливаются; солоноватая вода подступает к самым воротам монастыря, а порой просачивается в погреба, где мы храним провизию. Справа – дорога в город, по ней ездят верхом и на телегах, по четвергам торговцы перевозят с рынка на рынок свой товар – корзины, кожу, продукты. Монастырь у нас старый, двести лет назад его основали доминиканцы, покрыв расходы единственной монетой, которую признавала Церковь, – страхом пред вечными муками.

В ту пору индульгенции и мздоимства некое знатное семейство обеспечило себе попадание в Царство Небесное, дав монастырю свое имя. Но злой рок преследовал доминиканцев с самого начала. Через шесть лет после постройки монастыря всех обитателей истребила чума. Сменилось два поколения, а здания все пустовали, пока их не заняли бернардинки.

Монахинь тогда наверняка было куда больше, чем сегодня, ибо монастырь вмещал раза в два больше нашего нынешнего числа. Время и непогода не пощадили его некогда величавую архитектуру.

Были у монастыря и благодатные годы – в часовне хороший мраморный пол, на единственном уцелевшем окне дивный витраж... С тех пор ветра, хозяева здешних равнин, лишили прочности камень и разрушили арки в западной части построек, и для жилья те ныне непригодны. В восточной части сохранились дортуар, клуатр, лазарет и каминная, а вот кельи для мирян разрушены: в крыше не хватает стольких черепиц, что под сводами гнездятся птицы. Скрипторий тоже в плачевном состоянии; впрочем, это не слишком важно, ведь книг там мало, да и грамотных среди нас немного. Вокруг клуатра и часовни в беспорядке выросли малые строения, в основном деревянные, – пекарня, кожевня, амбары, копильня для рыбы. Величественная обитель доминиканцев сегодня напоминает рыбацкую деревушку.

Миряне у нас на подсобных работах. Служить нам – честь; с них труды, подаяния и десятина, с нас – молитвы и индульгенция.

Сама святая Мария Морская – каменная статуя, ныне стоящая у входа в часовню на пьедестале из неотесанного песчаника. Девяносто лет назад мальчишка искал на болотах сбегавшую овцу, а нашел трехфуттовую базальтовую глыбу, из которой изваяли женскую фигуру. Нагая грудь, плотно прижатые друг к другу ноги скрыты длинным бесформенным одеянием – местные мигом окрестили ее Русалкой.

Сорок лет назад статую великими трудами перевезли на территорию монастыря, и с тех пор с молившимися ей случилось несколько чудесных исцелений. Святую Марию Морскую очень почитают рыбаки и просят у нее защиты от штормов.

Мне святая кажется старухой. Явно не отроковица – голова устало опущена, ссутуленные плечи блестят, отполированные ладонями благоговейных островитян. Обвислая грудь тоже лоснится: бесплодные и мечтающие о потомстве рыбацки касаются ее и задабривают святую домашней птицей, бочонком вина или корзиной рыбы.

Хотя островитяне почитают ее, на Святую Деву статуя не похожа. Перво-наперво, она слишком древняя, древнее нашего монастыря. Почерневшей базальтовой глыбе не меньше тысячи лет, слюдяные вкрапления в ней словно раздробленные кости. Да и где доказательство, что неизвестный ваятель изобразил Матерь Божию? Нагая грудь статуи непристойна, совсем как у языческих богинь далекого прошлого. Кое-кто из местных по сей день величает ее прежним именем, хотя сотворенные ею чудеса давно доказали, что это святая. Только рыбаки – народ суеверный. Мы соседствуем с ними, но не стали им ближе и понятнее, чем доминиканцы двести лет назад. Для них мы чужестранки, которых следует задабривать десятиной и подношениями.

Монастырь святой Марии Морской – идеальное убежище. Старый, ветхий, оторванный от мира, он стал мне тихой гаванью. До материка неблизко, из клира лишь приходской священник, едва владеющий латынью. Сперва я стала келейницей, двенадцатой на тот момент. Из шестидесяти пяти монахинь лишь половина знала грамоту, а латынь – десятая часть или того меньше. Вначале мне велели читать Библию на капитуле, потом допустили к службам и освободили от многих обязанностей, чтобы я могла читать из большой старой Библии у кафедры.

Однажды мать настоятельница заговорила со мною смущенно, едва ли не робко. Ее просьба касалась послушниц, коих в монастыре было двенадцать, от тринадцати до восемнадцати лет.

– Не след им, да и любой из нас в безграмотности прозябать. Не подучишь их малость? В скриптории у нас книги, да прочесть их скоро будет некому. Подскажи, что и как...

Догадалась я быстро. Добрейшая, по-житейски мудрая мать настоятельница хранила от нас секрет. Удавалось ей это целых полвека, если не более. По причине этой она заучивала длинные главы из Библии, прикрывалась слабым зрением... Мать настоятельница не умела читать на латыни; сдается мне, она вообще не умела читать.

Неизменно присутствовала она на моих занятиях с послушницами – в глубине трапезной, где устроили классную комнату, стояла, склонив голову набок, точно понимала каждое слово. О неграмотности матери настоятельница я не обмолвилась ни разу, ни сестрам, ни ей самой; пред послушницами советовалась с нею, заблаговременно подготовив, а она тайно, исподволь, выказывала мне благодарность.

Через год по ее велению я приняла постриг и по-новому, полноправно, влилась в жизнь монастыря.

Любезная мать Мария, как мне ее не хватает! Ее вера была простой и честной, аки земля, которую она возделывала. Наказывала она редко – впрочем, поводов почти не возникало, – а в грехе видела следствие несчастий. С согрешившей монахиней она заговаривала мягко, на провинность отвечала не карой, а обратным – на кражу подарком, на леность отдыхом от трудов. Как не устыдиться пред такой щедростью! Однако в душе матери настоятельница, как и в моей, гнездилась ересь. Вера ее опасно приближалась к пантеизму, о котором меня предупреждал мой старый учитель Джордано. Зато в матери Марии не было ни капли фальши. Чуждая теологических тонкостей, ее философия выражалась одним-единственным словом – любовь. Для матери Марии любовь пересиливала все.

«Люби редко, но метко», – говорила моя мать, так со мной и было всю жизнь. Я и до монастыря думала, что познала любовь. Любовь к матери, любовь к друзьям, темная, запутанная любовь женщины к мужчине. Потом родилась Флер, и все изменилось. Никогда не видевший океана представляет его, рисует из того, что знает, – водоем больше мельничного пруда и больше озера. Однако реальность ярче и сочнее любого плода воображения: запахи, звуки, боль, радость не представить, их можно только прочувствовать. Так и было с Флер. Подобного всплеска эмоций я не испытывала с тринадцати лет. Когда мать Мария впервые поднесла ее к моей груди, я поняла: мир изменился. Прежде я всегда была одна, хоть и не понимала этого – странствовала, боролась, страдала, плясала, блудила, любила, ненавидела и торжествовала одна; подобно животному, я не жила, а существовала – ни забот, ни страхов, ни радостей. Изменилось все вмиг: я стала матерью.

Материнство не только радость, но и вечные тревоги. Я и прежде знала, сколь часто гибнут младенцы – в странствиях не раз и не два видела, как губят их голод и болезни, – однако боль и горечь утраты и представить не могла. Теперь я боюсь решительно всего. Бесстрашная Эйле, что танцевала на канате и летала на трапедии, превратилась в вхохлущую клушу, которая ради птенца своего ищет тишины и покоя, а не приключений, как раньше. Лемерль, дитя

азарта, осмелел бы мою слабость. «Риск – удел отчаянных». Где бы он ни был, мне его жаль. Ему океан не увидеть.

Сегодня приму отслужили наспех, матутинум и лаудесы не служили вообще. Светает, я в часовне одна. Крыша худая, над кафедрой черепицы менее всего, оттуда и льется беле-сый свет. Накапывает дождик, капли, вытекая из залатанного желоба, снова и снова играют минорную гамму из трех нот. В год, когда строили пекарню, мы продали почти все запасы свинца, пожертвовали хорошим металлом ради дрянного камня, сохранностью южного трансепта ради хлеба, душой ради сытости. В отсутствие свинца обходимся глиной и штукатурным раствором – какая уж тут прочность!

Святая Мария Морская взирает на меня с пьедестала. Время превратило ее лицо в блин, оставив лишь пустые круглые глаза. Крупная каменная женщина, она раскорячилась, словно цыганка пред родами. Дверь раскрыта – мне слышен и шелест волн об отмели, и крики птиц. Чайки, кому же еще здесь кричать? Черных дроздов на Нуармутье нет.

Видит ли меня сейчас мать настоятельница? Слышит ли святая мою беззвучную молитву?

Наверное, это крики чаек меня растревожили. Наверное, из-за отмелей пахнуло свободой.

Черных дроздов здесь нет.

Поздно, слишком поздно. Только помяни дьявола, потом вовек не избавишься! Его образ словно въелся мне в глаза – хоть закрывай их, хоть нет, он предо мной. Черный вестник несчастья не отпускал меня ни на минуту. Он был со мной всегда, и во сне, и наяву. Пять лет мира и спокойствия – больше, чем я рассчитывала, и больше, чем заслужила. Все возвращается на круги своя, как говорят островитяне. Прошлое накрывает меня, словно прилив – отмели.

5. 9 июля 1610

Самое раннее мое воспоминание – наша оранжевая повозка, с одной стороны нарисован тигр, с другой – пасторальная сцена: пастушки с овечками. Когда я слушалась, меня сажали играть напротив овечек, когда капризничала – к тигру. Если честно, тигр мне нравился больше.

Родилась я в цыганском таборе, а это означает много матерей, много отцов, много братьев и сестер. Высокая красавица Изабелла, моя настоящая мать, акробат Габриэль, безрукая Принцесса Фарандола, которая ловко орудовала ногами; черноокая гадалка Жанетта, в морщинистых руках которой карты мелькали, словно искры, а еще Джордано, еврей с юга Италии, который умел читать и писать, причем не только по-французски, но и по-латыни, по-гречески и на иврите. Хоть и не родной, Джордано заботился обо мне лучше других и любил холодно, сдержанно – как мог. Цыгане называли меня Жюльеттой. Других имен у меня отродясь не было – зачем они?

Джордано научил меня грамоте по книгам, которые прятал в тайнике, устроенном в повозке. Он рассказал мне о Копернике, объяснил, что не девять небесных сфер вращаются вокруг Земли, а Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Он и многое другое объяснял, например свойства разных веществ, да я поняла далеко не все. Он показал, как из серы, селитры и угля изготовить черный порох и как поджечь его при помощи длинного шнура. Джордано прозвали Философом и смеялись над его книгами и опытами, но именно у него я научилась читать, ориентироваться по звездам и не доверять священникам.

У Габриэля я научилась жонглировать, делать сальто и танцевать на канате. У Жанетты – гадать по картам и костям, использовать целительные свойства трав и растений. У Фарандолы – гордости и вере в себя. У матери – разбираться в тонкостях цвета, птичьих голосах, а еще отгонять беду магическими знаками. У других наставников я научилась обчищать карманы, пускать в ход нож и кулаки, качать бедрами перед пьянчугами – заманишь такого в темный уголок, а там есть кому и кошелек вытащить.

Мы кочевали по прибрежным городам и весям, нигде не задерживались подолгу, дабы не привлекать излишнего внимания. Вечно голодных, нас чурались все, кроме самых убогих да отчаянных; по всей стране церковники поносили нас, винили в любых бедах, от засухи до яблочной гнили. Только мы не унывали и горой стояли друг за друга.

Когда мне исполнилось четырнадцать, табор распался. Во Фландрии зилоты сожгли наши повозки, обвинив нас в колдовстве и кражах. Джордано бежал на юг, Габриэль – к границе, меня мать оставила на попечение кармелиток, пообещав вернуться, когда минет опасность. У кармелиток я прожила месяца два. Сестры были добрые, но очень бедные, почти такие же, как мы. В большинстве своем перепуганные старухи, они боялись внешнего мира во всех его проявлениях. Их затворничество стало мне в тягость. Я скучала по матери, по друзьям, по Джордано с его книгами, по вольной бродячей жизни. От Изабеллы вестей не было, ни худых, ни добрых. Карты ничего ясного не показывали – сплошь мечи да чаши. Зудело во мне все – от стриженной макушки до пят, старушечий запах душил. Однажды ночью я прошла шесть лье по землям Фландрии и пару недель таилась, перебиваясь объедками. Узнать бы о нашей трупке хоть что-то! Только след давно простыл: все говорили о войне, кому интересны циркачи-цыгане? От отчаяния двинулась я обратно к кармелиткам. Встретили меня запертые ворота, а на них знак – чума. Так я и поняла: к прошлому возврата нет. Объявится Изабелла или нет, жизнь вынуждала меня стать взрослой.

Одна-одинешенька подалась я в Париж. Приходилось красть и собирать объедки – иначе я умерла бы от голода. На время меня приютила итальянская труппа, где я выучилась новому языку и начаткам комедии дель арте. Увы, итальянские представления уже теряли популярность. После двух не особо успешных лет мои товарищи приуныли и, соскучившись по согре-

тым солнцем горам и апельсиновым рощам, повернули домой. Я отправилась бы с ними, но то ли предчувствие, то ли внутренний демон велели остаться. Простившись с итальянцами, я по-прежнему одна, с небольшими деньгами, снова подалась в столицу.

В Париже я и повстречала Черного Дрозда. Жгучий брюнет от природы, прозвище Лемерль³ он получил за цвет волос, при дворе слыл смутьяном, вечно откалывал номера на грани приличия, хотя в немилость не впал ни разу. Вроде бы самый обычный мужчина – ни нарядов богатых, ни украшений роскошных, но в глазах его света и теней не меньше, чем в целом лесу, а столь обаятельной улыбки я отродясь не видала. Так улыбается человек, для которого мир – чудесная нелепица. Все ему игра, а имена да чины – по боку. Сколько помню, он вечно жил в долг и не признавал церковь.

Привлекла меня беспечность, в которой я видела отражение собственной, хотя между нами не было ничего общего. Шестнадцатилетняя дикарка и неотразимый бунтарь двадцати шести лет – разумеется, я в него влюбилась.

Цыпленок, вылупившись из яйца, примет за мать-наседку первого встречного. Лемерль приютил меня, дал работу, возродил мою попорченную гордость. Я не просто любила его, а обожала, как неоперившийся птенец. «Люби редко, но метко». Вот мне и досталось.

Была у Лемерля труппа танцоров-лицедеев под названием Théâtre du Flambeau⁴, которой покровительствовал Максимельен де Бетюн, позднее ставший герцогом Сюлли, страстный любитель балета. Втайне от покровителя труппа давала и иные представления для узкого круга зрителей-придворных. Лемерль уверенно шагал по скользкой дорожке интриг и шантажа в обход законов светского общества и ни разу не увяз в болоте соблазна. Вряд ли кто знал его настоящее имя – я-то искренне считала дворянином, – зато уважали почти все. Поставленный с подачи Лемерля, Ballet des Gueux⁵ имел головокружительный успех, хотя иные называли его нечестивым действием. Ничтоже сумняшеся Лемерль включил в Ballet du Grand Pastoral⁶ не только придворных, но и герцога де Крамай в женском платье. Когда в труппе появилась я, Лемерль собирался поставить Ballet Travesti⁷, чем переполнил чашу терпения своего добропорядочного покровителя.

Поначалу мое обожание льстило Лемерлю. Когда я выступала, мужчины пожирали меня глазами, а он забавлялся. В составе его труппы я танцевала по всему Парижу, и в театрах, и в салонах. Комедии-балеты как раз входили в моду – эдакие романтические вариации классики с длинными танцевальными и акробатическими интерлюдиями. Лемерль писал либретто, ставил танцы и акробатические этюды. Каждый раз он менял сценарий согласно вкусам публики. Высокопарные речи утонченным, танцоры в эфемерных одеяниях любителям балета, акробаты, карлики, клоуны – зрителям попроще, которые и освистать могли, а нас встречали смехом и овациями.

Париж и Лемерль изменили меня почти до неузнаваемости – чистые волосы блестели, кожа сияла. Впервые в жизни я наряжалась в шелка и бархат, мех и кружево. Я танцевала в расшитых золотом туфельках, прятала улыбку за веерами из слоновой кости и куриной кожи. Юная и неопытная, я потеряла голову. Только дочь Изабеллы блестками да мишурой не ослепить. Голову я потеряла от любви, и когда красивые мечты разбились, именно любовь удержала меня возле Черного Дрозда.

Лемерль впал в немилость почти так же стремительно, как вознесся на вершину славы. Я аж растерялась, ведь еще вчера Париж бредил нашим Ballet Travesti, а наутро все рассыпа-

³ Le merle – черный дрозд (фр.).

⁴ Театр «Факел» (фр.).

⁵ «Балет нищих» (фр.).

⁶ «Большая пастораль» (фр.).

⁷ Балеттравести (фр.).

лось: де Бетюн от нас отрекся, танцоры с лицедеями разбежались. Сговорчивые прежде кредиторы налетели вороньем. Имя Ги Лемерль стало табу, у верных друзей появились неотложные дела. Кончилось тем, что Лемерль, едва не избитый прислужниками епископа Эврё, известного поборника пуританства, собрал что мог и бежал из Парижа, пока не оборвались последние связи. Я бежала с ним. Думайте что хотите. Отпетый мошенник, на десять лет старше и опытнее меня, он за лоском придворного прятал свою злодейскую сущность. А я все равно пошла за ним, как собака. Я пошла бы за ним даже в ад.

К кочевой жизни Лемерль приспособился быстро. Так быстро, словно, как и я, родился странником. Казалось бы, немилость его подавит, ну, хоть немного вразумит. Какое там! Придворный мгновенно превратился в бродячего артиста, сменив шелка на кожаные одежды. Он и местный говор перенимал мгновенно: правильная речь горожанина еженедельно менялась, впитывая особенности провинции, в которой мы выступали.

Я поняла, что Лемерль доволен собой, а вся эта «ерунда», как он называл бегство из Парижа, очень его забавляет. Из столицы он выбрался невредимым, спровоцировал несколько громких скандалов да еще оскорбил немало влиятельных людей. А самое приятное, он толкнул епископа Эврё, человека железного самообладания, на не приличествующий высокому сану поступок. Лемерль считал это крупной победой. Как следствие он, по-прежнему сама непотопляемость, тотчас принялся за новые авантюры.

От нашей труппы осталось семеро, включая меня. Две танцовщицы – Жислен из лотарингской деревушки, Эрмина, куртизанка не первой молодости, да четверо карликов – Рико, Базель, Като и Леборн. Карлики оказались разномастные: Рико и Като – сущие мальчишки с маленькими головами и писклявыми голосами, пухлый ангелочек Базель и одноглазый Леборн с нормальным торсом, сильными руками – здоровому мужчине бы такие! – и нелепо короткими ногами. Станный был этот Леборн, обозленный на всех громадин, как он именoval нас. Терпел он лишь меня (наверное, потому, что я свою жалость прятала) да Лемерля, которому нехотя выказывал уважение, если не собачью верность.

– Вот при деде моем карликов ценили, – частенько ворчал Леборн. – О заработке можно было не тревожиться: хочешь – в цирк устройся, хочешь – в труппу бродячую. А уж церковники...

Да, со времен его деда церковники сильно изменились – разучились сострадать и отчаянно стремятся найти виновного в своих бедах.

– Карлики и убогие всегда были легкой добычей, – сетовал Леборн. – А из бесправных цыган да лицедеев частенько делали козлов отпущения. Было время, когда в каждой труппе держали карлика или слабоумного, на удачу. Юродивые, так нас называли, блаженные. Ныне камнем кинут, краюшкой заплесневелой не поделятся. Нет больше жизни карликам! Что же до Лемерля с его комедиями-балетами... – Леборн оскалился. – С пустым брюхом не посмеешься. Зимой сам поймет, что к чему.

Как бы то ни было, дни шли своим чередом, и к нам прибились еще трое из распавшейся в Эксе труппы – флейтист Кабош, танцовщица Демизелль и Буффон, некогда клоун, ныне карманник. Назвались мы Théâtre du Grand Carnaval⁸, играли в основном бурлески и короткие балеты. Карлики кувыркались и жонглировали, наши представления нравились публике, но больших сборов не выходило, и набивать кошельки не получалось.

Близились осень. Вот уже несколько недель по утрам мы приезжали в деревни, чтобы подзаработать: помогали крестьянам косить сено или собирать фрукты, а вечерами давали представления во дворе ближайшей пивной и поднимали с земли монетки, что нам бросали. Лемерль, не привыкший к крестьянскому труду, стер руки в кровь, однако никогда не жало-

⁸ «Театр большого карнавала» (фр.).

вался. Однажды ночью я перебралась к нему в повозку. Я не сказала ни слова, а он не удивился, точно иного и не ждал.

Лемерль оказался холодным любовником, отрешенным, в страсти безмолвным, аки демон. Он притягивал женщин, но словно не замечал их интерес. Верность тут ни при чем. Порой имеющий один плащ не утруждается покупкой второго – так и было у нас с Лемерлем. Потом мне открылось, какой он в действительности – бессердечный, недалекий эгоист, однако поначалу я, ослепленная чувством, жаждала его ласки и довольствовалась той малостью, которую он мог дать.

В обмен я делилась с Лемерлем тем, что умела сама. Когда перестало хватать еды, я научила его ловить кроликов и птиц. Я научила его травами исцелять простуду и раны. Я научила его магическим знакам своей матери и даже повторила то, что слышала от Джордано. Уроками Джордано Лемерль особенно заинтересовался.

О себе я поведала ему больше, чем хотела, куда больше, чем следовало. Лемерль представлялся таким умным, обаятельным, его внимание очень льстило. Ересь, цыганские легенды и поучения Джордано – вот чем я его потчевала. Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Миром правит богиня плодородия и наслаждения, она древнее Господа, а паства ее не связана грехом и смирением. Мужчины и женщины равны – Лемерль усмехнулся, мол, чушь полная, но меня не осадил. Сколько лет прошло, он должен был все забыть. Куда позднее я поняла: Ги Лемерль не забывает ничего, он откладывает про запас каждое слово, каждый факт – в его хранилище оседает решительно все. Я была дурой, какие тут оправдания? Случившемуся вопреки готова поклясться: я стала ему дороже. В его сердце даже затеплились чувства. Потом, правда, оказалось, что их мало. Катастрофически мало.

Настоящего имени Лемерля я так и не узнала. Он намекал, что из дворян, и простолюдином явно не был, только, даже ослепленная страстью, я и половине его слов не верила. Лемерль называл себя актером, драматургом, поэтом в классическом стиле, говорил о неудачах и разорении, с блеском в глазах вспоминал переполненные театры.

В его актерском прошлом я не сомневалась. Свидетельствовало об этом решительно все – и блестящее умение пародировать, и широкая улыбка, и горделивая посадка головы. Актерский талант выручал Лемерля постоянно, торговал ли он якобы лечебными снадобьями, сбывал ли с рук старую клячу. А как он умел убеждать! Впрочем, начинал Лемерль явно не с лицедейства. Он получил образование, читал на латыни и греческом, знал труды философов, о которых мне рассказывал Джордано. В седле он сидел не хуже циркового наездника, ловко лазил в чужие карманы, великолепно играл в азартные игры. Лемерль легко приспосабливался к переменам, новое схватывал на лету. Как я ни старалась пробить стену баек, фантазий и откровенной лжи, которой он себя обнес, не вышло ровным счетом ничего. Свои тайны Лемерль прятал за семью замками.

Одно я таки прознала, вернее, увидела – старое клеймо на левом плече Лемерля, лилию, от времени почти слившуюся с кожей. В ответ на мои вопросы он с улыбкой отмахнулся, дескать, запомывал, но с тех пор прикрывал отметину с особым тщанием, и я не замедлила с выводами. Мой Черный Дрозд очень не хочет вспоминать, как он потерял перья.

6. 10 июля 1610

В Бога я никогда не верила. По крайней мере, в такого, который надменно взирает на шахматную доску и двигает фигурки по своему разумению, уверенно улыбаясь оппоненту. Подлинно есть в Создателе глубокий изъяз, раз Он упорно толкает детей Своих к гибели. Иначе зачем создал Он мир, удовольствий полный, но нарек удовольствия грехом; зачем создал людей несовершенными и ждет, что мы, отринув смирение, устремимся к совершенству? Вот дьявол играет честно, его намерения понятны. Только и он, первый из лжецов, втайне служит Всемогущему. Каков господин, таков и слуга.

Джордано называл меня язычницей. В его устах хвалой это не звучало: набожный иудей, он верил, что за земные страдания ему воздастся на небесах. Язычников Джордано считал аморальными безбожниками. День за днем вкушают язычники удовольствия плотские, риск и тревоги не страшат их, а радуют. Учитель мой старый ел мало, зато часто постился, а остаток времени отдавал занятиям. Нам он был добрым товарищем, только день субботний посвящал отдохновению, даже в зимний холод огонь не разводил: это, мол, труд. Ничем другим от нас он не отличался. Что бы ни говорили церковники, я ни разу не видела его вкушающим плоть христианских младенцев; Джордано вообще редко ел мясо. По-моему, вывод отсюда один: церковники во многом заблуждаются.

«Наверное, Джордано тоже заблуждается», – твердила себе я, отчаянно стараясь уподобиться своему наставнику. Его иудейский бог подозрительно напоминал мне католического, а католицизм, единственная истинная вера, – и гугенотскую, и веру английских протестантов. «Есть что-то еще, – утешала себя я, – что-то помимо греха и святости, праха и покаяния, что-то, позволяющее любить жизнь так беззаветно, как я».

Тринадцатая весна стала для меня новым пробуждением, а лето – длинной чередой восхитительных открытий – сколько у меня сил, сколько вокруг прекрасного! Словно впервые я увидела придорожные цветы, вдохнула аромат наступающей ночи и теплого, испеченного на углях хлеба с румяной коркой и нежным мякишем. А как ласкает тело одежда, как обжигает ледяная вода ручья! Если язычники так чувствуют, то язычество для меня. За одну ночь мир стал гостеприимным и уютным, он открывал свои тайны мне, а я открывалась ему навстречу. Каждый росток и цветок, каждое дерево и живое существо наполняли меня нежностью и счастьем. В Гавре я подарила свою девственность рыбаку – новое откровение потрясло меня не меньше Откровения Иоанна Богослова.

Джордано недовольно покачал головой, назвал меня бесстыдницей и принялся усиленно пичкать богословием. Я взбунтовалась: почему теология, где история, астрономия, латынь и литература? Джордано стоял на своем: я, мол, дикарка, не лучше дикарей Квебека, который недавно открыли. Я тайком таскала его книги и погружалась в латинскую любовную поэзию, смакуя каждую строчку. К зиме мой пыл приутих, Джордано простил меня и, в очередной раз покачав головой, вернул прежние занятия. Но в душе я осталась дикаркой. Даже сейчас в поле за работой мне лучше, чем в часовне за молитвой: распыленное трудами тело ноет, совсем как в мое нечестивое тринадцатое лето.

Сегодня я трудилась, пока не заболела спина. Солнце так и палило, но я, поработав на огороде, подоткнула юбку и отправилась на солончаки – там вязкой грязи по колено. С тяжелой работой – на солончаках, в дубильне, а еще с ловлей рыбы и забоем скота – нам помогают миряне, но я ее никогда не чуралась, да и страхи она прекрасно отгоняет.

Из Ренна по-прежнему ни весточки, а вчера мне приснился кошмар: раскинуты карты, на каждой Лемерль. Не сама ли я этот сон накликала? Что ни напишу в дневнике, все о нем. Воспоминания не остановить: вырвались они из узды. Пусть теперь летят прочь, пока сила не кончится.

Жанетта учила меня ценить сны. «Они подобны волнам, – говорила она, – подобны рекам, что несут нас. Что только не таят их глубины, какие только водовороты их не кружат. Кто сумеет, тот прочтет в них правду». Сны нужно читать как книгу, а не бояться их. Знаний лишь дурак убоится.

Воистину лютой оказалась наша первая зима. На целых два месяца Théâtre du Grand Carnaval застрял под Витре, городишком на реке Вилен. Снег валил весь декабрь, деньги и еда были на исходе, на одной повозке слетело колесо – до весны ее теперь не сдвинешь.

В труппе царил негласный закон: Лемерль не попрошайничает. Он якобы писал трагедию. Стоит представить ее зрителям, и проблемы разрешатся сами собой. Пока он творил, мы рылись в отбросах, попрошайничали, кувыркались и жонглировали среди ледяной грязи улиц. Женщины зарабатывали куда больше мужчин, порой и больше карликов, особенно когда те приедались публике. Леборн воспринимал это как личное оскорбление и постоянно ворчал. Лемерль забирал у нас выручку, словно иначе и быть не могло.

Нежданная январская оттепель принесла дождь и грязь. В один из тех дней мимо нашей стоянки к городу промчалась красивая карета. Чуть позже Лемерль собрал нас и велел приготовиться: сегодня мы выступаем в замке. Вымытые, в костюмах, сохранившихся с парижских времен, предстали мы пред пятью господами, которые восседали в большом обеденном зале. Игра шла полным ходом. Карты на столе, в воздухе аромат глинтвейна, древесного дыма, табака, в пламени свечей сверкало золото. Лемерль в пышном наряде придворного сидел с господами и потягивал пунш. В маленькой компании его считали своим: мы словно вернулись в парижское прошлое. Я чувствовала опасность и знала: Лемерль ее тоже чувствует. Впрочем, он был явно в своей тарелке и наслаждался происходящим.

Упитанный молодой господин в розовом шелку подался вперед и навел на меня лорнет. – Какая прелесть! – воскликнул он. – Ну, милая, подойди ближе. Я не кусаюсь!

Я подошла, атласные туфельки зашелестели по блестящим половицам, и сделала реверанс.

– Возьми мою карту, дорогуша. Давай, не стесняйся.

Мне было немного не по себе. За долгие месяцы странствий я подросла, юбка стала короче, лиф – куда туже. Эх, зря я подол немного не распустила и лиф не расставила! Господин в розовом ухмыльнулся, взял карту большим и указательным пальцем и протянул мне. Дама червей.

Лемерль подмигнул, и мне полегчало. Игру затеял? Прелестно! Я непременно выйду победительницей. Товарищам моим правила были явно знакомы. Эрмине выпала пиковая тройка, Като – трефовый валет, Демизель – бубновый туз и так далее, пока каждому из нас, включая карликов, не досталось по карте. У хозяев это вызвало грубый хохот, причину которого я взять в толк не могла. Потом началось действие. Первым мы исполнили смешной акробатический этюд, потом несколько сцен из Ballet des Gueux, «Балета нищих», имевшего большой успех при дворе.

За танцем я то и дело слышала, как в центр стола сбрасывают карты, только па были сложные, отвлекаться не следовало. Лишь когда танец закончился и четыре победителя поднялись за своими трофеями, открылась мне суть игры и ставок. Проигравшие, которым достались карлики, шутивно чертыхались. Беспомощную, одураченную, меня по широкой лестнице повели в спальню. За спиной послышался спокойный голос Лемерля: тот предложил сыграть в пикет.

Я повернулась было на его голос, но перехватила взгляд Эрмины – из четырех танцоров она единственная понимала, в чем дело. В золотом свете свечей Эрмина показалась мне старухой с густо нарумяненными щеками. Ее невозмутимые глаза поведали мне правду.

Молодой господин в розовом заметил мою нерешительность.

– Таковы правила, моя прелесть. Я ведь выиграл, да?

Лемерль знал, что я за ним наблюдаю. Что ему мои чувства? Часть игры, те же карты в его руках, интересные ему не больше секунды. Вот он отвернулся: начиналась новая партия. Я его возненавидела. Нет, не за акробатику на чужом ложе. Бывает и неприятнее, а молодой господин продержался недолго. Гадко понимать, что ты, как и другие, – разменная монета, карта, которую можно пустить в ход или сбросить за ненадобностью.

Разумеется, я его простила.

– Жюльетта, думаешь, легко мне было? Для тебя же старался. Для всех вас. Разве могу я позволить вам голодать из-за своей деликатности?

Я держала в руках нож, лезвие у него темное, остро заточенное. До дрожи хотелось пустить Лемерлю кровь.

– Все было бы иначе, – процедила я, – если бы ты только меня предупредил...

Чистая правда, поставь он меня в известность, я согласилась бы. Ради него.

Лемерль заглянул мне в глаза, и я поняла, в чем дело.

– Ты могла отказаться, Жюльетта, а неволить тебя я не смог бы.

– Ты продал нас! – дрожащим голосом возмутилась я. – Обманул и продал за деньги! – Лемерль знал, что я не сказала бы «нет». Отвергни мы тех господ, наутро Лемерля поставили бы к позорному столбу или еще страшнее наказали бы. – Ты использовал нас, Ги! Меня использовал!

Чувствовалось, что Лемерль оценивает ситуацию. Мой гнев быстро шел на убыль. По большому счету, что я потеряла? Давно ведь уже не девственница. В руке Лемерля звякнули монеты.

– Послушай, милая...

Не вовремя он решил подольститься: потянулся ко мне, а я полоснула ножом. Хотела лишь отогнать, но движение вышло стремительным, Лемерль не успел увернуться, и лезвие вспоролو ему ладони.

– В следующий раз, Лемерль... – меня колотило, но сжимающая нож рука была тверда. – В следующий раз, Лемерль, я лицо тебе перекрою.

Любой другой человек взглянул бы на израненные руки – совершенно ведь естественно, – любой, только не Лемерль. Вместо боли и страха в его глазах читались изумление и восторг, словно от приятного сюрприза. Такой взгляд я уже видела: за карточным столом, перед разъяренной толпой или, подогретый торжеством, на ярко освещенной сцене. Я встретила этот взгляд с вызовом. С кистей Лемерля капала кровь, только нам было не до нее.

– Да, милая, – проговорил он. – Как же иначе?

– Только попробуй!

Черный камзол, мертвенно-бледное лицо – окровавленные руки были единственным ярким пятном в облике Лемерля. Он шагнул ко мне, покачнулся, теряя равновесие, и я совершенно несознательно его поддержала.

– Ты права, Жюльетта, – пролепетал Лемерль, улыбаясь. – Напрасно я тебя не предупредил.

Гнева моего как не бывало, на что Лемерль, несомненно, рассчитывал. В следующий миг он, по-прежнему улыбаясь, лишился чувств.

Я сама перевязала ладони Лемерля чистой холстиной, приложив стебли буквицы, и нашла ему коньяк. Он пил, а я стояла рядом, снова припоминая ту карточную партию, пока не уверовала, что Лемерль не злодей, а жертва. Воистину, он рисковал больше любого из нас! Да и выручка получилась тройная, ливров пятьсот: нам заплатили за утехы, и салонные, и постельные, Лемерль обобрал молодых неопытных картежников подчистую, а Буффон с Леборном вынесли из замка все, что плохо лежало.

Конечно, господа поняли, как их обманули, но было уже поздно. Наша труппа покинула город, хотя молва о надувательстве и мошеннических трюках Лемерля преследовала нас до

самой Ла-Рошели и дальше. Тот случай стал первым в длинной череде обманов, поэтому следующие шесть месяцев мы то и дело меняли название. Дурная слава оказалась на диво живой, земля горела у нас под ногами, только мы не слишком тревожились. С каждым днем мы все больше верили, что Лемерль неуязвим, а за компанию с ним и мы. Если бы поймали, его бы наверняка повесили, и нас, вероятно, тоже, для острастки. Однако на западе королевства бродячих циркачей как собак нерезанных, а нас теперь знали как Théâtre de la Poule au Pot⁹, жонглеров из Аквитании. Théâtre du Grand Carnaval будто сквозь землю провалился. В общем, мы благополучно сбежали из Витре и из других городов. Я временно простила Лемерля, потому что по молодости лет верила: добро живет в каждом и в один прекрасный день даже мой Ги станет праведником.

Лемерля я не видела пять с лишним лет. Хватит терзаться воспоминаниями! Вполне вероятно, его и в живых-то нет: после Эпиналя у меня есть веские основания в это верить. Только я не верю. Тоску по нему я протащила за собой сквозь все эти годы, точно ярмо. Исчезни она, я бы вмиг почувствовала.

Сегодня нужно похоронить мать настоятельницу, всенепременно сегодня. Безжалостной чистоты небо сулит голубую безбрежность да палящее солнце. Тело уже заждалось, размякло в купели с благовониями, но никто не желает брать на себя ответственность. Никто не желает хоронить мать Марию до прибытия новой настоятельницы. Только ждать более нельзя.

Вторую ночь мне не спится. Травы не помогают: герань и розмарин не успокаивают, лаванда не приводит в порядок мысли. Белладонна, если настоять покрепче, затянет в омут видений, только видений мне и так достаточно. Не в них я нуждаюсь, а в отдыхе. За высоким окном первые отблески зари вскрывают темное небо, аки раковину. Рядом спит Флер: куколку прижала к себе, большой пальчик засунула в рот. Меня, усталости вопреки, в сон не клонит. Протягиваю руку и осторожно касаюсь дочки, я часто так делаю, чтобы успокоить и ее, и себя. В ответ Флер вздыхает и сворачивается калачиком, спиной прижимаясь к моей груди. От нее пахнет сдобной булочкой и теплым тестом. На затылке волосы по-детски мягкие, уткнуться в них так сладостно! Сегодня же сладость омрачает тревога, смутное предчувствие беды.

Обнимаю дочку, снова закрываю глаза, а покоя нет. Годы безмятежности растаяли как дым, а от чего? От черной птицы? От обрывков воспоминания? От смутного видения? Внезапно скончалась мать настоятельница... Ну и что с того? Мать Мария прожила долгую жизнь и этот мир покинула в свой час. Нет оснований считать, что с ее смертью связан он. Впрочем, Джордано учил, что в жизни все взаимосвязано, мол, все на земле: мужчина, женщина, вода, дерево или птица – все состоит из того же праха. Ересь, конечно, только Джордано в это верил. Он говорил, что однажды отыщет философский камень, подтверждение своих теорий, ключ к любой материи, магический эликсир. Все взаимообусловлено, Земля движется вокруг Солнца, все возвращается на круги своя, и любое явление имеет тысячи отголосков. Эти отголоски я сейчас чувствую, они набегают, точно волны от брошенного в воду камня.

Черный Дрозд возвращается? С ним мы связаны крепко, это мне ясно и без философии. Пусть возвращается. Коли предначертана ему новая роль, пусть сыграет ее, и поскорее. Ему ведь известно, если я увижу его во плоти, то на сей раз убью.

⁹ Театр «Вареная курица» (фр.).

7. 12 июля 1610

Мать Марию мы похоронили среди ее любимых ароматных трав. Церемония получилась очень скромной – я посадила на могиле лаванду и розмарин: пусть прах тлеет среди их дивных запахов, каждая из сестер прочла краткую молитву. Мы пропели «Кирие элейсон»¹⁰, да нестройно: от горя многим не пелось. Вот ведь как скорбим! За пять лет, что я в монастыре, умерло более десятка сестер, иные совсем юными, и ни по одной мы так не печалились. Только ведь иначе и быть не могло: сей раз мы потеряли больше чем сестру. Мы не оплакивали так даже короля Генриха, убиенного в Париже почти два месяца назад.

Скорбь скорбью, только без почестей настоятельницу хоронить не след. Негоже предавать ее земле без священника и заупокойной службы. Но ждать более нельзя: когда еще придут вести из Ренна, тело же летом быстро гниет, а от гнили одна зараза. Многие сестры об этом не помышляют, полагаясь на божественную силу молитвы, меня же кочевая жизнь научила осторожности. «Демоны демонами, но человеку опаснее грязная вода, тухлое мясо да отравленный хворью воздух», – говаривала моя мать. Ее мудрость не раз меня выручала.

Как бы то ни было, я сумела их убедить. Мне всегда это удается, да и скромное погребение пришлось бы матери Марии по нраву. Вместо склепа полотняный саван, уже посеревший от плесени, да сырая земля, на которой так чудно растет ее картошка.

Будь моя воля, я посадила бы на могиле картошку: картофельная плоть сольется с плотью матери настоятельницы, каждый сустав ее подкормит клубень, каждая косточка родит побег, соль ее плоти с солью земли смешается и даст силу новой жизни... Нет, такие мысли гожи язычнице, отравят они скорбную святость могилы. Только у меня другие боги. Создатель мира не аскет с каменным лицом, он не требует жертв без смысла и жизни без радости, не запугивает грехом... Лучше питать собой картошку, чем угодить в непонятный рай или в беспросветный ад... Вестей из Ренна все нет.

Вестей нет уже девятые сутки. Наш мир быстрее сотворили! Жизнь монастыря увязла в неизвестности, в пустоте летних дней. Мы как розы под стеклянным колпаком, а ведь окружающий мир не остановился, жизнь и смерть, рост и увядание, прилив и отлив по-прежнему сменяют друг друга, точно у Господа собственный распорядок. Ветер с моря, что веет в окно, уже пахнет осенью, от яркого солнца поблекли листья, выгорела трава. Земля поблескивает, как наковальня под молотом лета.

Я хоть на солончаках работаю: деревянной лопаткой соскребаю белую корку с грязи и складываю в кучу. Работа простая, бездумная, и я могу смотреть, как Флер с Переттой плещутся в теплой бурой воде. Иным такой труд в тягость, а мне тайная отрада, особенно сейчас. Солнце печет, дочка рядом, я снова могу стать собой, не полностью, а насколько хочется. Я вдыхаю аромат моря, терпкий запах солончаков, поют птицы, с запада дует свежий ветер. В отличие от многих сестер, я не слабая неженка, страшаясь жизни, и не иступленная фанатичка вроде сестры Альфонсины, чтобы с упоением истязать свою плоть. Труд мне в радость, поджарые ноги не знают усталости, мышцы рук что твои канаты. Рукава закатаны, юбка подоткнута, вимпл брошен на берегу.

Не только ребенок выделяет меня среди сестер. Когда попала в монастырь, волосы я обрехала, но они быстро отросли, блестящие, густые, рыжие, как лисий мех. Волосы – моя единственная гордость, я ведь слишком крупная, а за годы странствий стала чересчур смуглой. Увидал бы Лазарильо мои волосы, мигом бы меня вспомнил, а в вимплах все монахини на одно лицо. Здесь, на солончаках, голову можно не покрывать, здесь никто не увидит длинных

¹⁰ «Господи, помилуй!» (*гrec.*) – молитвенное призывание, завершающее собой богослужение.

волос или бесстыдно оголенных плеч. Здесь я могу быть собой. Знаю, Эйле мне уже не бывать, зато можно хоть немного побыть Жюльеттой.

Еще шесть лет я выступала с труппой, впоследствии ставшей «Небесным театром». После Витре я больше не жила в повозке Лемерля. Любить я его любила – сердцу не прикажешь, – но остаться с ним не позволяла гордость. В ту пору я обзавелась собственной повозкой, и когда Лемерль ко мне явился – я не сомневалась, что явится! –пустила его не сразу, а словно из милости, как покаявшегося грешника. Не слишком суровое наказание, но я впервые показала зубы, и на время мне этого хватило.

Кочевали мы по побережью, не пропускали рынки и ярмарки: где зарабатывать, если не там? Когда за выступления платили мало, торговали снадобьями от простуды да приворотным зельем или Лемерль обдирал опрометчивых картежников и игроков в кости. Мы показывали отрывки из балетов, пьесы-маски, все чаще устраивали настоящие представления. Вместе с карликами я придумала новый номер – танец на канате. Простенький, а деревенской публике понравился. С него и начался головокружительный успех «Небесного театра».

Поначалу два карлика держали под канатом плотную ткань – для страховки. Осваиваясь, мы перестали использовать ткань, от шагов по канату перешли к танцам и сальто. Потом повесили кольца и начались перелеты с каната на канат. Так на свет появилась Эйле.

Высота меня никогда не пугала, напротив, она меня притягивала. С высоты все одинаковые – мужчины, женщины, злодеи, короли, точно чины и богатство зависят от угла зрения, а не от воли Божьей. Канат делал меня чудо-женщиной, и каждый раз поглазеть на чудо собиралось все больше народу. Выступала я в серебристо-зеленом трико с накидкой из пестрых перьев, а голову венчала кокарда с плюмажем, в которой я казалась еще выше. Рослая от природы – в «Небесном театре» выше был только Лемерль, – в костюме я становилась гигантессой. Когда из золоченой клетки я выходила на канат, дети шептались и показывали пальцами, а их родители громко изумлялись, куда, мол, этой великанше летать, на шест бы забралась!

Канат натягивали в тридцати футах над головами зрителей. Внизу камни, земля, трава – одна ошибка, и либо кости себе переломашь, либо разобьешься. Только Эйле не ошибалась. К лодыжке мне цепляли тонкую золоченую цепь, точно без нее я улетела бы прочь. Другой конец цепи держали Рико и Базель, стараясь ее натянуть потуже. Порой я рычала и делала вид, что рвусь с привязи. Дети визжали от страха. Наконец карлики отпускали цепь, и я обретала свободу.

Танцевала я легко и непринужденно. Впрочем, мои номера только казались легкими: за простейшим движением стояли несчетные часы тренировок. Я отплясывала на тоненькой шелковой веревке – с земли такую едва разглядишь, – на кольцах перелетала с одной веревки на другую, как давным-давно, в другой жизни, Габриэль учил меня у оранжевой повозки с тиграми и ягнятами. Порой я пела, порой издавала дикие гортанные звуки. Зрители глазели на меня с благоговением и шептали, что я впрямь чудо природы. Небось за морями-океанами таких целое племя: ярко-рыжие гарпии бороздят бескрайнюю синеву небес. Разумеется, Лемерль публику не переубеждал, да и я тоже.

Шли месяцы, годы, слава наша росла, «Небесный театр» гремел и в Париже, и в провинции. Я позабыла страх: рисковать так рисковать. Прыжки мои стали невероятнее, перелеты между шестами – дерзче и головокружительнее. Я использовала качели, трапецию и подвесную платформу, исполняла свой номер хоть в лесу, хоть над водой. Ни разу не сорвалась.

Зрители меня обожали. Многие верили в байку Лемерля: я, мол, нездешнего племени, диловинка из-за океана. Ведьмой тоже называли, и пару раз мы едва уносили ноги. Впрочем, такое случалось редко. Мы стали любимцами всего королевства, и Лемерль решил, что нам пора на север, к Парижу.

Со дня нашего бегства пролетело два с половиной года, по мнению Лемерля, достаточно, чтобы забыть о «мелких неприятностях». Возвращаться в светское общество он не пла-

нировал. Близилась королевская свадьба. Мы понимали: в стороне от торжества не останется ни одна французская труппа. Актеры, жонглеры, музыканты, танцоры – все примут участие. Самое время немного заработать, а чуть больше напора и задора – так и озолотиться можно.

Впрочем, тогда я уже знала Лемерля как облупленного и простым объяснениям не поверила. В его глазах снова вспыхнул недобрый огонек – он явно замыслил рискованную аферу. Встревожилась я сразу, как услышала его планы.

– Травит бешеного тигра, – твердил Леборн. – Ему бы только забавляться, но вот загонит тигра в угол, тогда нам всем не поздоровится.

Лемерль, конечно же, от опасных замыслов отрекся.

– Никаких подвохов, прелестная Гарпия! – клялся он, но его голос буквально звенел от сдавленного смеха, и я не поверила. – В чем дело, неужели ты боишься?

– Я? Ничего подобного!

– Вот и славно. Трястись да бояться нам некогда.

8. 13 июля 1610

Пробил звездный час Эйле. У нас были деньги, слава, обожание публики, а еще мы возвращались домой. Перед королевской свадьбой в Париже царил нескончаемый карнавал: вино лилось рекой, все веселились и с удовольствием раскошеливались. В воздухе пахло надеждой, деньгами, а за пьянящим ароматом таился страх. Свадьба, как и коронация, – время смутное. Контроль ослаблен. Союзы возникают и распадаются. Нас это не слишком тревожило. Мы наблюдали за исполнителями главных ролей на французской политической сцене, малодушно надеясь, что они нас не тронут. Забавы ради подымет монарх свой перст – и конец целой армии. А человека погубить под силу даже епископу. Впрочем, в «Небесном театре» об этом не задумывались. При желании могли бы держать нос по ветру, а мы упивались успехом. Лемерль травил своих тигров, я осваивала новые рискованные трюки. Даже Леборн не хандрил. По приезде в столицу мы услышали, что нами изволил интересоваться Его Величество, и едва не обезумели от счастья.

Следующие дни помню смутно. Разных королей перевидала я на своем веку, но Генрих – моя слабость, то ли потому, что у него лицо доброе, то ли потому, что он бурно аплодировал в тот день. Нынешний король Людовик совсем другой. Его портретами бойко торгуют на рынках – юный Луи с сияющим нимбом, вокруг коленопреклоненные святые. Меня он пугает: бледное личико, поджатые губы – что знает о жизни этот ребенок? Как ему Францией править? Но я забегаю вперед. Когда Эйле выступала в Пале-Рояль, время было мирное, счастливое, самое беззаботное с тех пор, как закончилась война. Королевская свадьба, этот союз с Медичи, подтверждал: грядут перемены к лучшему.

Перемены впрямь начались, да только не к лучшему. Выступление пред королем мы отпраздновали вином, мясом и сладкими пирожками, Рико с Базелем решили посмотреть зрелищный цирк возле Пале-Рояль, другие продолжили пирушку, а Лемерль без провожатых отправился к реке. Вернулся он поздно. Я проходила мимо его повозки, увидела на ступеньках кровь и испугалась.

Я постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. Лемерль сидел на полу спиной ко мне и прижимал скомканную рубашку к левому боку. Я вскрикнула и бросилась к нему: он был весь в крови. К счастью, крови оказалось больше, чем серьезных повреждений. Короткий острый нож, вроде моего, скользнул по ребрам Лемерля, оставив неглубокий порез дюймов восемь длиной. Сперва я решила, что Черного Дрозда подкараулили грабители, ночные прогулки по Парижу – забава опасная, но кошелек не тронули, да и разве бывалый разбойник так неловко ножом полоснет? В чем дело, Лемерль не объяснил, и я решила, что на нож он наварлся сам. Большой беды не случилось – простое невезенье.

Только беды на этом не закончились. Следующей ночью подожгли одну нашу повозку, остальные не пострадали лишь по счастливой случайности. Като пошел отлить и почуял запах дыма. Огонь сожрал двух лошадей, наши костюмы, саму повозку и, главное, нашего товарища. Рико накануне напился до беспамятства и от криков не проснулся. Базель, его закадычный друг, бросился на помощь, хоть все понимали, что затея бессмысленная. Густой дым не позволил ему даже приблизиться к Рико.

Пожар стоил Базелю голоса: после той ночи он мог только шептать. Думаю, это его надломило. Базель беспробудно пил, чуть что, лез в драку, выступал отвратительно. Мы перестали использовать его в номерах и не удивились, когда пару месяцев спустя он от нас ушел. «Скаattered дорожка! – хмыкнул Леборн. – Не Эйле ведь сбежала! Карлика везде найдешь».

Париж мы покидали тайком, подавленные. Лемерлю в столице не сиделось, даром что празднование шло полным ходом. Гибель Рико потрясла его сильнее, чем я ожидала: он мало ел, спал еще меньше, скажешь ему слово – тотчас огрызался. Вскоре я поняла, дело тут не в

Рико и не в сгоревшем имуществе, а в том, что его унизили, испортили ему триумфальное возвращение. Черный Дрозд проиграл, а проигрывать он не любил больше всего на свете.

В ночь, когда сожгли повозку, ничего необычного мы не заметили, Лемерль же свои подозрения держал при себе. Он погрузился в мрачное молчание и даже не позлорадствовал, прослышав, что на днях епископа Эврё, его заклятого врага, подкараулили разбойники.

Из Парижа мы двинулись на юг. Базель оставил нас в Анжу, но вскоре у нас появились два новых товарища – одноногий скрипач Беко и его десятилетний сын Фильбер. Мальчишка был рожден для каната, но пренебрегал осторожностью. За неоправданный риск он поплатился неудачным падением и долго не мог выступать. Лемерль не гнал его, целую зиму возил по стране, кормил и давал работу, хотя прыжки на канате для Фильбера закончились. Наконец он пристроил мальчика к монахам-францисканцам, которые согласились о нем заботиться. Беко благодарил Лемерля, а я удивлялась: дела наши шли неважно, денег едва хватало. Леборн пожимал плечами и бурчал про пресловутых тигров. Впрочем, порой в Черном Дрозде неожиданно просыпалась сентиментальность.

«Небесный театр» колесил по стране. Сперва в Анжу, потом в Гаскони мы выступали на рынках и ярмарочных площадях, помогали крестьянам, а зиму, как в былые времена, переждали на одном месте. Следующей зимой от лихорадки умерла Демизель, и мы остались с двумя танцовщицами. Тридцатилетнюю Эрмину на канат не поставишь: смотреть больно, а Жислен, как ни старалась, прыжки так и не освоила. Эйле снова летала одна.

Лемерль не потерял присутствия духа и снова взялся сочинять пьесы. Фарсы ему всегда удавались, но чем дольше мы кочевали по Франции, тем больше он тяготел к сатире. Самой лакомой мишенью для его остроумия была церковь. Не раз и не два мы срывались с места, оскорбив чувства зилота-чиновника. Публике пьесы нравились. Злобные епископы, похотливые монахи и лицемеры-священники шли на ура, а если в действе участвовали карлики и Крылатая, монеты сыпались дождем.

Священников Лемерль играл сам, раздобыв рясы, сутаны и тяжелый серебряный крест, который наверняка стоил недешево. Однако Лемерль не продавал его даже в самые трудные времена. Когда я спросила, откуда крест, он назвал его подарком старинного парижского друга. Коли так, почему глаза Лемерля холодно блестели, а губы фальшиво улыбались? Хотя о его неожиданных приступах сентиментальности я уже говорила. Если Лемерль решил хранить тайну, язык ему не развяжешь. Меня такая позиция все равно удивляла, особенно на голодный желудок, но со временем крест вылетел из головы.

Теперь мы кочевали так кочевали: зимой на юг, летом на север, по всем ярмаркам и рыночным площадям. Там, где народ понабожнее, меняли название, но в основном оставались «Небесным театром». Эйле все плясала на канате, восхищенная публика осыпала ее цветами. Только я чувствовала: конец моей славы близок. Как-то я порвала сухожилие и целое лето мучилась нестерпимой болью. В крайнем случае нас прокормили бы и пьесы Лемерля. Они были опаснее танцев на канате, но давали отличный доход, особенно в гугенотских городах.

На юг мы ездили еще пять раз, я успела выучить дороги, хлебные и опасные места. Временами я заводила любовников, чему Лемерль нисколько не препятствовал. Когда позволяла, он делил со мной ложе, но я повзрослела, и рабское обожание сменилось чувством поспокойнее. Я повидала его и в гневе, и в радости, разобралась, что за птица Черный Дрозд, и принимала таким, как есть.

Еще я поняла, что в Лемерле много гадкого и верить ему нельзя. При мне он дважды убивал: в первый раз пьянчугу, не желавшего расставаться с кошельком, во второй – крестьянина, который под Руаном швырял в нас камнями. Оба убийства он совершил тайком, под завесой тьмы, оба тела обнаружили, когда нас давно уже след простыл.

Однажды я спросила, не гложет ли его совесть.

– Совесть? – Лемерль поднял брови. – О чем ты, о Всевышнем, Страшном суде и так далее?

Я пожала плечами. Он отлично понимал, что я не об этом, но не упустил возможности напомнить, что я еретичка, и подколоть.

– Милая Жюльетта, – с улыбкой начал Лемерль, – если Бог впрямь царствует на небесах – твой Коперник утверждает, что это очень-очень далеко, – его точке зрения я не доверяю. Кто я Господу, пылинка ничтожная? По-моему, все иначе.

Я не поняла его и попросила объяснения.

– Мне претит быть фишкой в чужой игре с неограниченными ставками.

– Пусть так, но убивать человека...

– Люди постоянно друг друга убивают. Я хотя бы не лицемер и убиваю не во имя Господа.

Я видела или думала, что вижу в Лемерле и хорошее, и плохое, но все равно его любила. Я искренне верила, что, несмотря на грехи, душа у него добрая, а сердце верное. Но в этом и состояла суть таланта моего Черного Дрозда, вороватой птицы-пересмешника, – он заставлял видеть то, что хочется; свое отражение, но нечеткое, как тени на озерной глади. В его глазах я видела себя наивной дурочкой. В двадцать два года я была не взрослой женщиной, как самой мне казалось, а неопытной девчонкой.

Изменилось все в Эпинале.

9. 14 июля 1610, Эпиналь

Прелестный городок на Мозеле, в самом сердце Лотарингии. Большой частью мы кочевали по побережью, сюда попали впервые и остановились в деревушке Брюер, в паре лье от самого Эпиналя. Место тихое, пяток ферм, церковь, грушевые и яблоневые сады, полузадушенные падубом. Если я и заподозрила неладное, то сейчас не вспомню, что именно: то ли крестьянка у дороги косо посмотрела, то ли мальчишка на перекрестке сделал пальцами рогатку. Как всегда на новом месте, я раскинула карты, но выпал безобидный шут, шестерка жезлов да двойка чаш. Если таил тот расклад предупреждение, я его не углядела.

Август. Жаркое сухое лето уступало свои права ранней осени – становилось сыро, пахло сладковатой гнилью. Июльский град побил вызревший ячмень, колосья прели, от полей разило, как из пивной. За градом последовала мучительная жара, местных жителей развезло, и на наши повозки они смотрели, сонно хлопая глазами. Как бы то ни было, место для стоянки нам выделили, вечером мы развели костер и под аккомпанемент сверчков да лягушек показали короткую бурлеску.

Зрителей собралось немного. Даже карлики едва вызвали улыбки на их лицах, кроваво-красных в отблесках костра. Впрочем, и те улыбки оказались мимолетными. Судя по болтовне в пивной, любимым развлечением местных были казни с сожжениями. Накануне казнили свинью, сожравшую свой выводок, две монашки из соседнего монастыря устроили самосожжение, уподобившись святой Кристине Чудесной, у позорного столба неизменно стоял хотя бы один преступник. Жители тихой деревушки Брюер любили сильные зрелища, что им труппа лицедеев?

Лемерль лишь плечами пожал и глубокомысленно заявил, что жизнь полосатая, а в деревушках к театральным действиям не привыкли. В Эпинале, мол, будет много лучше.

В Эпиналь мы прибыли в день Успения и Вознесения Девы Марии, с самого утра город радостно бурлил. Этого мы и ожидали: после крестного хода и мессы горожане разбредутся по улицам, рассядутся по пивным, где уже вовсю славил Богоматерь. Пьесам Лемерля здесь не место: в Эпинале народ набожный, а вот плясунья на канате и жонглеры, наверное, понравятся. У главного входа церкви я увидела флейтиста, тамбуриниста, шута в колпаке с бубенцами и палкой в руке и, как ни поразительно, Чумного Доктора с намелованным лицом в развевающейся черной мантии. Других странностей я не заметила. «Верно, еще одну труппу сюда занесло. Небось выручкой придется делиться», – с тревогой подумала я, но тотчас выбросила это из головы. Предупреждений-то было достаточно, как же я не обратила на них внимания? Доктор в птичьем костюме. Взволнованный, если не испуганный ропот нам вслед. Косой взгляд крестьянки в ответ на мою улыбку, знаки-рогатки на каждом шагу.

Лемерль первым почуял неладное. Как не встревожил меня вызывающий взгляд, которым он окинул толпу, как не озадачила его фальшивая улыбка? По праздникам мы отправляем к горожанам карликов раздавать сласти и приглашения на наше действо, но сегодня Лемерль велел им никуда не отлучаться. Леборн лишь изредка плевался огнем с задка моей повозки, превращая ее в комету, а Като тонким голоском выкрикивал: «Лицедеи! Спешите видеть лицедеев! Спешите видеть Небесную Плясунью!»

Сейчас мне понятно, что горожан занимало совсем иное. С минуты на минуту должен был появиться крестный ход, и у церкви уже собралась огромная толпа. По обеим сторонам главной улицы выстроились люди, кто с иконами, кто со свечами, кто с цветами, кто с флагами. На мосту процессию ожидали жители приречья. Торговцев тоже хватало: и с пирогами, и с мясом, и с пивом, и с фруктами. Воздух пропитался запахом горящих свечей и пота, жареного мяса, пыли, ладана, лука, мусора и лошадей. Шум становился невыносимым. Первыми стояли

дети и калеки, но народу было слишком много, толпа теснила наши повозки: одни с любопытством разглядывали яркие надписи и флажки, другие просили освободить дорогу.

Я словно в туман погрузилась: вопли торговцев, солнцепек, резкие запахи – разве такое стерпишь? Попробовала свернуть в переулок, надеясь, что там поспокойней, но ничего не вышло. Под напором верующих наши повозки оказались у церкви как раз в момент появления крестного хода. Застрав среди толпы, я с любопытством наблюдала, как из-за парадных дверей церкви выносят огромную платформу со статуей Богоматери.

Несли платформу человек пятьдесят, и еще столько же шагали с флангов, уперев длинные поддерживающие шесты в плечи. Тяжелая платформа раскачивалась, выплывая из-за двери, каждый шаг носильщиков в капюшонах сопровождался вздохом, словно ноша была невпопад. Богоматерь стояла на постаменте, украшенном белыми и синими цветами, ее вышитое одеяние сверкало на солнце, руки лоснились от масла и меда. Перед платформой шагал священник с кадильницей, за ним дюжина иноков со свечами, нараспев читающих Ave Maria под завывания гобоя.

Долго слушать пение не довелось. Едва вынесли статую, толпа застонала. Верующие, тесня нас, рванули вперед.

– Miséricorde! – заголосили со всех сторон. Вонь масла, потных тел, копоты смешивалась с дымом из серебряной кадильницы, чесночным запахом, Святым Прахом и не давала дышать. – Помилуй! Помилуй нас, грешных!

Я забралась на облучок и глянула поверх голов собравшихся. Стало не по себе: религиозных фанатиков я и раньше встречала, но эти казались много фанатичнее и иступленнее. Уже не впервые я непроизвольно схватилась за округлившийся живот. Не пора ли покончить с кочевой жизнью, пока она совсем не опостылела? Двадцать третий год пошел, уже не девочка.

Черный Доктор махнул плащом – отделил себя от толпы, расчистил проход. С каждым его шагом собравшиеся выли все громче, иные падали ниц.

– Miséricorde! Помилуй нас, грешных!

Мы оказались слишком близко к процессии – бежать некуда. Я натянула поводья – мой конь испуганно переступал с ноги на ногу среди напиравшей толпы, которая грозила опрокинуть повозку. Мимо медленно проплыла Богоматерь, накренившись, точно груженная баржа. Многие носильщики брели босые, словно кающиеся грешники, хотя в праздник Девы Марии так не принято. Подобно носильщикам, монахи были в капюшонах, но вот один из братьев спустил капюшон на затылок, и я увидела его лицо, багровое не то от пьянства, не то от натуги.

Моя повозка не двигалась. Платформа со статуей, покачиваясь, проплыла мимо. Я так и стояла на облучке и, на миг поравнявшись с Богоматерью, разглядела пыль, за долгие годы скопившуюся в завитках золоченого венца, потертость на розовой щеке, паучка в уголке голубого глаза. Видимый лишь мне, паучок полз по скуле Девы Марии... Процессия двинулась дальше. За платформой бушевало полное безумие: люди падали на колени, увлекая за собой идущих рядом. Свободные места тотчас занимали другие, наступали упавшим на головы, заглушая вопли.

– Miséricorde! Помилуй нас, грешных!

Слева от меня женщина навзничь упала в толпу и закатила глаза. На мгновение она безвольным изваянием взмыла вверх на поднятых руках, а потом рухнула наземь: верующие двинулись дальше.

– Эй! – закричала я. – Там человек упал!

Беснующаяся внизу толпа взирала на меня с непониманием. Слов моих никто не слышал. Я щелкнула кнутом над их головами. Глаза моего коня вылезали из орбит, он натянул поводья и переступал с ноги на ногу, стараясь устоять на месте.

– Женщина упала! Расступитесь, да расступитесь вы, ради Бога!

Повозку уже унесло вперед, раненая осталась позади. Любопытные тотчас рванули на освободившееся место. Дикие вопли сменились ропотом, в котором едва слышалось Ave. На обращенных ко мне лицах мелькали облегчение и надежда. А потом случилось страшное.

Упади любой другой, никто бы и не заметил. Как я позднее узнала, во время празднования затоптали четверых: праведные богомольцы и гуляки разможили их черепа о мостовую. Святая процессия медленно плыла вперед, а верующие расступались, одурманенные ладаном и благоговением. Самого падения я не видела, зато услышала вопль: сперва одинокий, он вмиг обернулся многоголосым ором, куда страшнее прежнего. Я снова вскочила на облучок и, наконец, узрела произошедшее, хотя даже тогда не сразу поняла его чудовищную суть.

Монах, шедший в хвосте процессии, потерял сознание. «От жары, – апатично подумала я, – или ладана надышался». Вокруг упавшего тотчас собрались люди, разорвали ему рясу – мелькнула белая плоть. Испуганный крик, стон, и люди стремглав бросились прочь от монаха, волнами всколыхнув толпу.

Пара секунд, и волны превратились в обратное течение – толпа развернулась, вместо того чтобы пробиваться к процессии, люди остервенело рвались к церкви. Наши повозки заколыхались: кое-кто из верующих лез к нам, сгорая от желания убраться подальше. Святость крестного хода таяла на глазах: стройная колонна сыпалась. Венец слетел с главы накренившейся Богородицы: в сутолоке удрали кто-то из носильщиков.

Раздался пронзительный крик страха и отчаяния, будто ножом прорезавший вой и ропот: – La peste! La peste!

Я вслушивалась, стараясь разобрать слова на незнакомом диалекте. Как бы то ни было, по толпе они разнеслись с дьявольской скоростью. Спеша удрать, кто-то пустил в ход кулаки, кто-то полез на стены домов, что обрамляли улицу, кто-то прыгнул с моста. Я осмотрелась и поняла, что меня отрезали от трупы. Впереди я увидела Лемерля, нещадно стегавшего свою кобылу. Толпа сжала его в тиски, раскачивала повозку, отрывала колеса от земли. Из моря чужих лиц мой взгляд выхватывал то одно, то другое. Поразило меня лицо девушки, раскрасневшееся, перекошенное страхом и ненавистью.

– Ведьма! – заорала она мне. – Отравительница!

Истерия что зараза: истошный вопль перелетел через меня, точно камешек через озеро. Он набирал скорость, выискивал жертву. Ручеек ненависти разлился в мощный поток и налетел на меня, грозя захлестнуть вместе с повозкой.

С конем я едва справлялась. Нрав у него спокойный, но та девица ударила его, и он взвился на дыбы, подбрасывая вверх передние ноги с тяжелыми подковами. Девица заверещала, а я натянула поводья, чтобы конь не лягнул впередистоящих. Потребовалась вся моя сила и выдержка, но конь испугался так, что пришлось шептать ему на ухо успокоительное заклинание. Когда я управилась, девицы уже след простыл, а волны ненависти разбежались по толпе.

Тем временем над головой Лемерля сгущались темные тучи. Он что-то крикнул, да разве один человек перекричит толпу? Я была слишком далеко и, в чем дело, не разобрала. Его кобылу, от природы норовистую, охватил ужас. Сквозь конское ржание слышались вопли: «Колдун! Отравитель!» Успокоить лошадь Лемерль не мог. Как и я отрезанный от трупы, он шелкал кнутом в воздухе, отгоняя беснующихся. Тут ось его старой повозки не выдержала и сломалась. Повозка рухнула, и десятки рук тотчас за нее схватились, не обращая внимания на кнут Лемерля. Черный Дрозд попался и упорхнуть уже не мог. В лицо ему полетел ком земли, сильные руки стащили с козел. Городской чиновник попробовал вмешаться. Я с трудом слышала крики «Хватит! Прекратите!» – видно, в толпе не все жаждали крови.

Все это время я истошно вопила – хотела отвлечь внимание от Лемерля, а сейчас погнала коня вперед, невзирая на беснующихся. Лемерль заметил меня и ухмыльнулся, но тут толпа сомкнулась и скрыла его из вида. Судя по звукам, Лемерля отчаянно тузили и тащили прочь.

Я бы и пешком за ним бросилась, но сильно отстала, да еще Леборн, прятаясь в недрах повозки, вцепился мне в руку.

– Не глупи, Жюльетта! – прошипел он. – Не поняла, что здесь творится? Неужели ничего не слышала?

– Лемерль... – пролепетала я, затравленно на него глядя.

– Лемерль себя в обиду не даст. – Леборн стиснул мою руку еще крепче. Хватка у него железная, даром что карлик. – Только послушай!

Я вслушалась. Теперь крик стал ритмичным и сопровождался притопыванием – толпа точно скандировала имя любимой актрисы: «La peste! La peste!»

Лишь тогда я сообразила. Вспышка страха, упавший монах, обвинения в колдовстве... Леборн заметил, как я изменилась в лице, и кивнул. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Вокруг нас вопили все громче и громче.

«La peste!»

Чума.

10. 16 июля 1610

Толпа наконец-то рассеивалась, а я никак не могла успокоить перепуганного коня. Буффон придержал своего и поравнялся со мной. Повозка Эрмины едва не перевернулась на мосту, а сама она стояла, беспомощно глядя на сломанное колесо. Других наших видно не было: не то угодили в руки беснующейся толпы, как Лемерль, не то сбежали.

Увещевания Леборна я пропустила мимо ушей и, соскочив с повозки, бросилась за процессией. Половина носильщиков уже скрылась, оставшиеся пытались пристроить платформу с Богородицею у большого мраморного фонтана, который занимал почти всю площадь. Среди дороги валялись трупы: кого затоптали, кого задавили. Вот опрокинутая повозка Лемерля. Где же ее хозяин, живой или мертвый?

– Мон рёге! – обратилась я к священнику, старательно изображая спокойствие. – Не знаете, что тут стряслось? На этой повозке ехал мой друг.

Священник молча буравил меня взглядом. Его лицо побурело от пыли.

– Умоляю вас, скажите! – Я едва не срывалась на истерику. – Он не сделал ничего плохого, только защищался!

– Будь покойна, твой дружок получит по заслугам, – с издевкой процедила женщина в черном, одна из носильщиков Богородицы.

– Что?!

– И он, и вся его братия.

Я едва ее понимала: так грубо звучал местный говор.

– Мы видели, как вы отравляете колодцы. И знамения видели.

За ее спиной из проулка выступил Чумной Доктор, его развевающийся плащ хлопал о стену. Женщина в черном увидела его и, таясь от меня, сделала пальцами знак-рогатку.

– Послушайте, я лишь хочу разыскать друга. Куда его уволокли?

– А сама как думаешь? – издевательски засмеялась женщина. – В суд, конечно! Теперь не сбежит. Никто из вас, чумных, не скроется!

– Что за чушь! – выпалила я. Вероятно, прозвучало угрожающе, потому что женщина отскочила, тыча в меня дрожащими пальцами.

– Miséricorde! Господь да спасет меня!

– Сейчас проверим! – пообещала я и шагнула к ней. На плечо мне легла рука Чумного Доктора, длинноногая маска приглушала его голос.

– Успокойся и слушай меня.

Я пыталась вырваться, но Доктор держал меня неожиданно крепко.

– Здесь небезопасно, – прошипел он. – Месяц назад на этой самой площади судья Реми¹¹ спалил четырех ведьм. На брусчатке до сих пор осталась жирная сажа.

Этот бесстрастный голос я уже где-то слышала.

– Мы встречались?

– Тихо! – Доктор отвернулся, едва шевеля намалеванными губами.

– Мы точно встречались! – заявила я. Тонкая, кривоватая, как старый шрам, линия рта казалась знакомой. А еще запах его пыльного плаща... – Встречались ведь?

Из-под носатой маски раздраженно зашипели.

– Господи Боже мой! – Да, я, несомненно, слышала этот голос раньше, этот четкий отрывистый выговор человека, владеющего многими языками. Доктор снова ко мне повернулся, и

¹¹ Николай Реми – писатель и судья, «лотарингский Торквемада». При его участии за колдовство казнили около 800 человек.

я увидела его глаза, печальные и мудрые, как у старой мартышки в клетке. – Они ищут виноватого, – пошелестел он. – Уезжай сейчас же. Не вздумай остаться на ночь!

Разумеется, Доктор говорил дело. Комедианты, скитальцы и цыгане – удобнейшие козлы отпущения, какая бы беда ни пришла – неурожай, непогода, голод или чума. Я усвоила это четырнадцатилетней, во Фландрии, а три года спустя, в Париже, закрепила. Леборн знал это давно, а Рико понял слишком поздно. Порой чума преследовала нас во время странствий по королевству, но, казалось, ужасы закончились. Ныне болезнь губила лишь старых и немощных, но в Эпинале она стала последней каплей в огромной чаше бед. У коров нет молока, у собак бешенство, урожай пропал, фрукты сгнили, август принес невиданную жару. Кого-то следовало призвать к ответу. Какая разница, что это глупость? Какая разница, что быстрее чем за неделю чума не убивает, а мы приехали час назад. Какая разница, что, как ни отравляй колодцы, через воду чума не передается?

Впрочем, я уже понимала: здравый смысл в Эпинале бессилен. Местным нравилось обвинять ведьм. Ведьм да отравителей. Если так сказано в Библии, зачем искать другое объяснение?

Вернувшись к своей повозке, я не застала ни Леборна, ни Буффона, ни Эрмину. Они сбежали, забрав свое добро – кто сколько сумел. Я их не винила: Доктор дал хороший совет, но бросить Лемерля на растерзание фанатиков я не могла. Ведомая верностью или слепым девичьим увлечением, повозку я оставила на улице, коня – у фонтана, а сама проследовала за толпой к зданию суда.

Когда я пришла, там яблоку было негде упасть. Люди устроились в дверях, на лестнице, чуть ли не друг у друга на головах – только бы увидеть и услышать. Судебный пристав с трибуны старался перекрыть толпу. Рядом стояли вооруженные солдаты, а меж ними – Лемерль, бледный, но не растерянный.

«Ладно хоть на ногах держится!» – подумала я. Лицо в синяках, руки связаны, но неведомый чиновник вмешался вовремя, не позволив нанести серьезных увечий. Это давало надежду, ибо означало, что кому-то город подчиняется, а этот кто-то может прислушаться к голосу разума. По крайней мере, я в это верила.

– Люди добрые! – пристав поднял свой жезл, прося тишины. – Во имя Всевышнего, дайте мне сказать!

Пристав был невысоким толстячком с роскошными усами и скорбным взглядом. Мне он очень напоминал виноградаря или торговца зерном, коих я повидала превеликое множество. Через весь зал, через головы собравшихся и лес воздетых к потолку рук я углядела, что пристав дрожит.

Вопли приутихли, но успокоились далеко не все.

– На виселицу колдуна! Смерть отравителю! – орали несколько человек.

Пристав нервно потер руки.

– Успокойтесь, добрые жители Эпиналя! – закричал он. – Никто из нас не имеет права допрашивать этого человека.

– Допрашивать?! – пролаял кто-то из глубины зала. – Мы не об этом! Сержант, тут нужны веревка да сук.

По залу прокатился ропот одобрения. Пристав махнул рукой, требуя тишины.

– Без суда людей не вешают. Этого человека еще не признали виновным. Лишь судья вправе...

– А как насчет предзнаменований? – перебил лающий голос.

– Да, как насчет них?

– Как насчет чумы?

Пристав снова призвал к спокойствию.

– Я не вправе принимать решение! – Его голос дрожал не меньше, чем руки. – Вправе только судья Реми!

Имя судьи успокоило горожан лучше всех стараний пристава: вопли сменились недовольным ропотом. Кто осенял себя крестом, кто показывал рогатку. Я перехватила смеющийся взгляд Лемерля, благо ростом была выше доброй половины собравшихся. Этот взгляд я знала слишком хорошо: видела столько раз, что и не вспомнить, – взгляд игрока, ставящего последние деньги, взгляд актера перед величайшим представлением своей жизни.

– Судья Реми. – Голос Лемерля легко разнесся по залу. – Мне рассказывали о нем как о человеке достойнейшем.

– В девяти областях перевешал две тысячи ведьм и колдунов, – объявил тот же лающий голос из глубины зала. Горожане стали оборачиваться, а Лемерль и глазом не моргнул.

– Жаль, что его здесь нет.

– Скоро будет!

– Надеюсь, не задержится.

Горожане невольно заинтересовались. Лемерль завладел их вниманием, держал на крючке и отпускать не собирался.

– Времена сейчас опасные, – проговорил он. – Подозрительность ваша вполне обоснованна. Где судья Реми?

– Будто сам не знаешь! – пролаял тот же голос, но без прежнего пыла. Собравшиеся недовольно зашикали.

– Замолчи, пусть говорит!

– Рот закрыть не можешь?

Пристав объяснил, что судья уехал по делам, но должен вернуться со дня на день. Из глубины зала тотчас залаял подуститель, но его оборвали гневно и так быстро, что никто не разобрал, в чем дело.

Лемерль улыбнулся.

– Жители Эпиналя! – начал он, не повышая голоса. – Я охотно развею ваши подозрения и даже прошу вам холодный прием. – Лемерль показал на избитое лицо. – Разве Господь не велел подставить другую щеку?

– Дьяволу не чужды ни речи красные, ни слова правильные, – не унимался подуститель, приблизившийся к трибуне, но еще незримый в многоликой толпе. – Язык твой не распухнет от такой праведности?

– Сейчас проверим, – тотчас нашелся Лемерль. Толпа прежде хором обвиняла его, а теперь так же хором поддерживала. – Позвольте мне, грешному, напомнить, чью волю исполняет этот суд, – не судьи Реми, а Того, кто над ним. Прежде чем разбираться, давайте попросим Господа, чтобы направлял и защищал нас в эту лихую годину. – Связанными руками Лемерль вытащил серебряный крест и поднял над головой.

Я подавила улыбку: ну как им не восхититься? Головы безропотно опустились, бледные губы зашептали «Отче наш». Удача поворачивалась лицом к Лемерлю. Подуститель залаял еще раз, но его тотчас заглушил возмущенный ропот, и я так и не разобрала, кто это. Тщетно пристав требовал порядка – понадобилась помощь Лемерля.

– Требую уважения к этому суду! – рявкнул он. – Не Дьявол ли тут вмешался, не он ли сеет раздор меж честных людей, не он ли наущает превратить суд в посмешище?

Пристыженные смутьяны затихли.

– Не то ли самое только что творилось на рыночной площади? Неужто вы хуже зверья?

Воцарилась полная тишина: даже подуститель не осмеливался открыть рот.

– Дьявола вижу в каждом из вас, – громко зашептал Лемерль. – В тебе, – он ткнул пальцем в детину со свирепым красным лицом. – В тебе его похоть, червем извивается в глазах твоих. А в тебе, – он повернулся к худосочной женщине, которая стояла в первом ряду и, прежде чем настроение толпы изменилось, пуще всех проклинала его, – в тебе я вижу сребролюбие и недовольство. А в тебе, а в тебе... – от волнения Лемерль заговорил громче и поочередно

клеил горожан. – Вижу алчность, злобу, жадность. Ты лгал жене. Ты изменяла мужу. Ты бил соседа. Ты не верил в истинность спасения нашего.

В глазах горожан ясно читалось, что наживку Лемерля они проглотили целиком и полностью. Но даже сейчас один неверный шаг – и они набросятся на него, аки дикие звери. Лемерль это тоже понимал, его глаза сверкали от возбуждения.

– А ты, – он показал пальцем в центр зала. Взмах связанных рук, и люди расступились. – Да, ты, в сумраке таящийся. Ты, Ананий¹², лжесвидетель! Твоя сущность видна мне лучше, чем у всех остальных!

На добрых десять секунд стало тихо: все смотрели на брешь в толпе, а потом наконец увидели подустителя, мерзкого уродца, прятавшегося в сумраке. Огромная голова, обезьяньи руки, одинокий, налитый злобой глаз – стоявшие рядом расступились, а уродец тотчас вскочил на подоконник, дико шипя.

– На сей раз ты ускользнул от меня, черт тебя дери! – залаял он. – Но я тебе еще устрою, брат Коломбин!

– Господи помилуй!

На лицах горожан отразились гадливость и изумление: люди узрели того, кто высказал их недавние тревоги.

– Чудовище!

– Дьявольское отродье! Черт!

Из отвратительного рта уродца вылетел сноп пламени.

– Мы еще встретимся, Коломбин! – залаял он. – Это сражение за тобой, но в Ином мире война продолжается!

Уродец соскочил с подоконника во двор и исчез, оставив лишь дым и запах горелого масла.

В гробовой тишине пристав разинув рот взирал на арестованного.

– Боже милостивый, я видел его, видел! Помилуй меня, Господи! Я видел черта!

Лемерль пожал плечами.

– Он узнал вас! – лепетал пристав. – Он говорил так, словно вы уже встречались.

– И не единожды, – отозвался Лемерль.

У пристава чуть глаза на лоб не вылезли.

– Господин, так назовитесь же! – наконец попросил он.

– Назовусь, – с улыбкой пообещал Лемерль, – но сперва пусть мне принесут стул и коньяку. Буду премного благодарен! Я приехал издалека и очень устал.

Лемерль назвал себя странником. Он, мол, прибыл в Эпиналь, прослышав о непогрешимом судье Реми. Слава о благих деяниях судьи разнеслась по всему королевству, и Лемерль покинул уединение цистерцианского монастыря, чтобы разыскать сего достойного мужа и предложить ему свои услуги. Лемерль поведал о знаках и видениях, чудесах и кощунствах, свидетелем которых якобы стал в своих странствиях. Он наговорил много жуткого про шабаши, евреев, язычников, отравленные колодцы, загубленный урожай, испорченное зерно, храмы, сгоревшие от удара молнии; детей, зачатых в материнской утробе или задушенных в колыбели. Обо всем этом он якобы знал из первых рук. У кого-нибудь есть сомнения?

Сомнений не было ни у кого. Горожане своими глазами видели черта, своими ушами слышали имя арестованного. Лемерль на-гора выдал им байку о брате Коломбине, который по воле Божией истребляет дьявольское племя. В бедности и полном одиночестве скитается он из города в город, изобличает козни лукавого, а единственной наградой считает победу над сатаной. Неудивительно, что его приняли за цыгана: бродячие артисты на время стали его

¹² Ананий и его жена Сапфира, утаившие часть денег за проданное имение, упоминаются в Книге деяний Святых апостолов.

попутчиками. Черт узрел, что добрые жители Эпиналя в смятении, замыслил обман, но, хвала небесам, остался с носом, да еще себя выдал.

Разумеется, я узнала Леборна. Голос он менял мастерски, чем мы не раз пользовались. Видимо, Леборн прокрался в здание суда раньше меня – как любой карлик, при желании он становился практически незаметным, – и в толпе у Лемерля появился тайный пособник. Подобный трюк часто применяют фокусники и балаганные заклинатели, выручал он и нас. Леборн – прекрасный актер. Досадно, что короткие ноги ограничивают его бурлесками и акробатическими этюдами. Я пообещала себе, что впредь буду к нему добрее. Леборн верный, даром что брюзга, а сегодня его отвага и находчивость спасли Лемерлю жизнь.

Тем временем Лемерля захлестнула волна желающих прикоснуться к нему. Теперь горожане жаждали не крови, а прощения. Руки тянулись к нему со всех сторон, хватали за одежду, гладили. Мужчина пожал Лемерлю руку, и тотчас каждый в зале захотел пожать руку ему, прикоснувшись к святому человеку. Лемерль, конечно же, упивался происходящим.

– Благослови тебя Бог, брат мой! Благослови тебя Господь, сестра!

Постепенно, почти незаметно, тон Лемерля изменился: святоша превращался в уличного торговца. Озорной блеск его глаз горожане, помилуй их, Господи, приняли за благочестие, а Лемерль то ли из дерзости, то ли из любви к риску закусил удила.

– Вам повезло, что я попал в Эпиналь, – заявил он. – Пороком здесь и воздух пропитан, и небо обложено. Спросите себя, почему чума терзает ваш город. Каждому известно: праведникам козни лукавого не страшны.

Горожане смущенно зароптали.

– Спросите себя, почему я странствую без боязни, – продолжал Черный Дрозд. – Спросите себя, как я, простой священник, много лет отражаю дьявольские нападки. – Звучный голос Лемерля стал заговорщицки вкрадчивым. – Много лет назад мой учитель, святой человек, сварил снадобье от самых разных происков сатаны – греховных видений, суккубов и инкубов, хворей и порчи. Очищенный настой двадцати четырех трав с добавлением соли и святой воды благословлен дюжиной епископов. Пьется по капле... – Лемерль выдержал паузу, оценивая реакцию публики. – Вот уже десять лет эликсир бережет меня и спасает. В Эпинале сегодня он необходим, как никогда.

Следовало догадаться, что на полпути Лемерль не остановится. «К чему он клонит? – гадала я. – Тут чистая месть? Насмешка над легковверными горожанами? Попытка заработать? Простое желание победить?» Я хмуро взглянула на Лемерля со своего места в глубине зала, но он уже вошел в раж, теперь его не сдержать. Он почувствовал мой предостерегающий взгляд и ухмыльнулся.

По словам Лемерля, имелась крохотная загвоздка. Он с радостью подарил бы горожанам снадобье, только с собой у него лишь одна фляга. Он сварил бы еще, но травы редкие, да и где найти двенадцать епископов? В общем, быстро эликсир не приготовить, и, как ни неловко, он вынужден просить небольшую мзду за каждую порцию. Если добрые горожане принесут по бутылки воды или вина, он возьмет пипетку и приготовит много порций слабого раствора...

Желающих было хоть отбавляй. До самого вечера ползла по улице длинная очередь с пузырьками и бутылками. Лемерль, сама серьезность и учтивость, приветствовал каждого и отмерял прозрачную жидкость стеклянной трубкой. Платили ему кто деньгами, кто добром – кто жирную утку принес, кто бутылку вина, кто горсть монет. Иные из страха перед чумой выпивали свою порцию тут же, многие, ощутив прилив сил, возвращались за добавкой, но справедливый Лемерль просил подождать, пока каждый не получит свою долю.

Не в силах смотреть на это кичливое кривляние, я выскользнула из зала, разыскала своих, помогла им отогнать повозки и разбить лагерь. Я злилась, ведь за день наши повозки разграбили, а вещи разбросали по рыночной площади. Впрочем, все могло кончиться хуже. Ценностей у меня было немного, самой большой потерей стал ларец с травами и целебными снадобьями.

бьями, а по-настоящему дорогие мне вещи – карты Таро, нарисованные Джордано, и книги, которые он подарил мне во Фландрии, когда мы расстались, целыми и невредимыми нашлись в проулке: грабители на них не позарились. Да и что рваные костюмы в сравнении с выручкой Лемерля? Он собрал столько, что хватит на целое море реквизита. Я даже подумала, что на свою долю смогу купить клочок земли и построить домик.

Живот мой округлился не так сильно, чтобы делать окончательные выводы, только я чувствовала: месяцев шесть – и Эйле навек простится с полетами. Еще чувствовала, что рвать с Лемерлем нужно сейчас, пока не стало поздно. Я восхищалась им, любила, но не верила ему ни секунды. Он мой секрет пока не знал, но если узнал бы, то наверняка использовал бы в корыстных целях.

Решиться на разрыв было непросто. Я ведь уже много об этом думала, даже вещи пару раз собирала, но прежде что-то неизменно останавливало. Наверное, страсть к нескончаемым приключениям. Мне нравилось быть с Лемерлем, нравилось быть Эйле, нравились наши пьесы, сатиры, полеты фантазии. Но сейчас я с неожиданной остротой почувствовала, что мои приключения заканчиваются. У малышки в моем чреве уже имелась собственная воля – я понимала, что такая жизнь не для нее. Лемерль не перестанет травить своих тигров. Однажды его безрассудство доведет нас до беды, и очередная фантазия взорвется и покалечит не хуже, чем порошки Джордано. До этого чуть не дошло в Эпинале, только удача спасла нас. Но разве можно надеяться на ее постоянство?

Лишь поздно вечером Лемерль собрал выручку и возвратился к нам. На постоялом дворе он не пожелал ночевать якобы из любви к суровости походной жизни. Мы разбили лагерь на поляне за городом и, смертельно усталые, готовились ко сну. Я свернулась калачиком на матрасе, набитом конским волосом, и в последний раз за день погладила округлившийся живот. «Завтра, – беззвучно пообещала я. – Завтра я от него уйду».

Лемерль уехал тайком от всех. Наверное, обмотал копыта лошадей тряпьем, а сбрую и колеса повозки – лоскутьями. Наверное, ему помогла предрассветная дымка, заглушившая шум. Наверное, я просто слишком устала, слишком сосредоточилась на себе и своем еще не рожденном малыше, чтобы сторожить Черного Дрозда. До той ночи нас соединяло некое чувство, крепче моего бывшего обожания и страсти, которую нам дарили ночи вдвоем. Я думала, что знаю Лемерля, его игры и прихоти, его неожиданные приступы жестокости. Думала, ему меня не удивить.

Когда я поняла свою ошибку, было слишком поздно: Черный Дрозд улетел, наш обман вскрылся, Леборн лежал под повозкой с перерезанным горлом, заря только занималась, а солдаты новой инквизиции уже караулили нас с мечами и арбалетами, цепями и веревками. В наших планах имелся просчет. Совсем крохотный, он мгновенно превратил нашу победу в провал.

Той ночью в Эпиналь вернулся судья Реми.

11. 17 июля 1610

Воспоминаний о том дне почти не сохранилось. Любые воспоминания – как соль на незажившую рану, но порой они всплывают, точно неподвижные картинки волшебного фонаря. Вот солдаты инквизиции, вытаскивающие нас из постелей. Вот Леборн с перерезанным горлом. Вот падает наземь искромсанная одежда. Отчетливее всего я помню звуки – стук копыт, звон сбруи, громогласные приказы, разгоняющие остатки сна, наши удивленные вопли.

Долго, слишком долго не понимала я, в чем дело. Чуть больше проворства, и улизнула бы, воспользовавшись предрассветным сумраком да кутерьмой. Буффон дрался как лев, и часть солдат, оставив нас, умирjala его. Увы, я растерялась, ждала, что сейчас появится Лемерль с планом спасения, и упустила момент.

Лемерль снова нас бросил. Сам спасся, небось почувал опасность и понял: если бежать вместе, больше вероятности, что поймают. Леборн, видимо, разгадал его подлый замысел и поплатился жизнью – беднягу нашли под повозкой с перерезанным горлом и изуродованным лицом. Остальных – женщин, цыган, карликов, тех, кого легко заменить, – Черный Дрозд швырнул солдатам, аки горсть монет. По сути, он нас продал. Уже не впервые.

Слишком поздно открылась мне горькая правда. Нагими нас заковали в кандалы, выстроили в ряд и повели под конвоем конных охранников. Эрмина, вся растрепанная, безутешно рыдала, за ней с высоко поднятой головой шла я, последним, корчась от боли, хромал Буффон. Карауливший меня жирный боров с наглыми глазами и губками бантиком пробормотал что-то сальное и хотел погладить меня по щеке. Я обожгла его презрительным взглядом, благо глаза были сухие и горячие, как угли.

– Только тронь, – зашипела я, – одно мое заклинание, и стручок твой мигом отвалится...

Боров оскалился.

– Ты, сучка, свое получишь, – процедил он. – Жду не дождусь...

– Жди, боров, жди и помни про заклинание.

Знаю, глупо было ему угрожать, только меня распирало от гнева. Казалось, я лопну, если промолчу.

Снова и снова появлялась навязчивая мысль, она крутилась в сознании, как мул вокруг колодца, и с каждым кругом терзала все сильнее. Как Лемерль мог так со мной? Со мной! Ладно с Эрминой, ладно с Буффоном, Беко, ладно с карликами. Но я – это я. Почему он не взял меня с собой?

Позови меня Лемерль, я бы пошла – это открытие разожгло пламя ненависти, мгновенно и навсегда. Я-то считала себя лучше других, сильнее и порядочнее. Лемерль раскрыл мне глаза. Я поняла, что так же способна и на предательство, и на трусость, и на убийство. Теперь я видела истинную себя и, распаляя свой гнев, горела желанием пустить Лемерлю кровь. Злость баюкала меня ночью и согревала днем.

Арестантская трещала по швам, и нас заперли в подвалы под зданием суда. Я попала в холодную каморку с земляным полом и солевыми отложениями на стенах. Смешать эту соль с углем и серой – получится не просто белый порошок, а отличная взрывчатка, но зачем в подвале взрывчатка? Тут ни окон, ни другого выхода – лишь запертая дверь. Я села на влажный пол и постаралась обдумать свое положение.

Виновность наша сомнений не вызывала, оправдываться бессмысленно. Вариантов обвинения у судьи Реми было выбирай – не хочу, спасибо Лемерлю. Воровство, порча, ересь, самозванство, бродяжничество, колдовство, убийство – за любое из этих преступлений по закону нам грозила смерть. Верующий утешался бы молитвами, а я молиться не научилась. Леборн твердил, что для таких, как мы, Бога нет. Мы не созданы по его образу и подобию. Мы юро-

дивые, бракованные, треснувшие при обжиге. Разве нам можно молиться? Да и если бы мы молились, что сказали бы Ему?

Спина у камня, ноги на утопанной земле – я просидела так до рассвета, баюкала малютку в своем чреве, прислушивалась к рыданиям за стеной.

Раз, и дремы как не бывало. В каморке царил мрак, но я отчетливо услышала скрип засова и легкие шаги на подвальной лестнице. Я не без труда встала, не отрывая спину от стены, и шепотом спросила:

– Кто там?

В ответ раздалось мерное дыхание и шелест одежды о стену. Ко мне кто-то подкрадывался. В полной темноте я подняла кулак. Меня всю трясло, но я знала, что рука не дрогнет. Пусть только приблизится!

– Жюльетта!

Я точно окаменела.

– Кто ты? Откуда знаешь мое имя?

– Жюльетта, прошу тебя, у нас мало времени.

Я медленно опустила кулак, потому что сообразила, кто это. Чумной Доктор! Тот, который предупреждал меня, тот, чей голос показался знакомым. Запах я тоже узнала: сухой, резкий – так пахнут химикалии. В крошечном мраке и тишине ничего не отвлекало, вот я и догадалась. От той догадки у меня аж дух захватило.

– Джордано?

– Говорю же, для вопросов сейчас не время, – раздраженно прошипели из тьмы. – Вот, возьми! – Мне швырнули что-то мягкое. Ткань. Это ряса, пропахшая плесенью, но наготу прикроет. Я натянула ее, гадая, что случится дальше.

– Хорошо, а теперь за мной. Быстрее, медлить нельзя!

Наверху лестницы открыли люк. Чумной Доктор скользнул в него первым и протянул мне руку. Глаза мои привыкли к мраку, и свет в коридоре едва не ослепил, хотя источал его единственный факел. Еще вялая и заспанная, я повернулась к старому приятелю, но увидела лишь Чумного Доктора в длинноносой маске и черном плаще.

– Джордано? – снова спросила я, касаясь маски из папье-маше.

Чумной Доктор покачал головой.

– Может, хватит вопросов? Я подсыпал слабительное стражнику в суп, и теперь он каждые десять минут бежит в уборную. В последний раз забыл ключ.

Чумной Доктор настойчиво подталкивал меня к двери.

– А мои друзья? Что с ними?

– Их спасти некогда. Вот если сбежишь одна, у нас обоих есть шанс. Ну, решайся!

Я мешкала. Из-под черной маски мне вдруг послышался голос Лемерля и свой малодушный ответ: «Забери меня! Брось остальных, только меня забери!»

«Ни за что!» – зло сказала я себе. Если бы Лемерль позвал меня, я, наверное, убежала бы с ним. Только на коротеньком словце «если» будущее не построишь. Под сердцем шевельнулся ребенок, и я поняла: дам сейчас слабину – его будущее навсегда омрачит тень Лемерля.

– Без друзей не пойду! – заявила я.

Старик бился над замками, но тут обернулся и обжег меня взглядом.

– Ничуть не изменилась! – прошипел он. – Такая же упрямца. Небось они правы: ты точно ведьма. В твоей рыжей голове поселился диббук!¹³ Ты обоих нас погубишь!

Ночной воздух пах свободой, и мы с Джордано не могли им надышаться. Мы разбежались: мне хотелось остаться, но Джордано строго-настрого запретил, и я послушалась. Мы спешили по улицам Эпиналя, искали где потемнее, выбирались из города грязными закоулками. Сон

¹³ Диббук – злой дух в ашкеназийском еврейском фольклоре, являющийся душой умершего злого человека.

это или явь: слух и зрение обострились до непостижимого предела, как бывает лишь в бреду. Бегство вспоминается обрывками – лица в трактире, свет красного фонаря, рты, разинутые в беззвучном пении; луна за грядой облаков, черная каемка леса; сапоги, мешок со снедью, плащ, загодя спрятанный под кустом, мул на привязи.

– Забирай мула. Он мой, никто искать не станет.

Джордано так и не снял маску.

Я едва не задохнулась от благодарности.

– Джордано, столько лет прошло. Я думала, ты умер.

Сухое карканье наверняка означало смех.

– Меня голыми руками не возьмешь! Теперь-то уедешь?

– погоди! – попросила я, дрожа от страха и волнения. – Я так долго тебя искала! Что стало с нашей трупой? С Жанеттой, с Габриэлем, с...

– Рассказывать нет времени. С тобой целую ночь проговоришь, а вопросы не кончатся.

– Тогда спрошу только об одном. – Я сжала его руку. – Ответь, и я уеду.

Джордано кивнул. В носатой маске он напоминал огромного мрачного ворона.

– Да, – наконец выдавил он. – Изабелла...

Я тотчас поняла, что моей матери нет в живых. Все эти годы я хранила ее образ в сердце, точно медальон на груди, – ее горделивую статью, ее улыбку, ее песни и заклинания. Она умерла во Фландрии, по словам Джордано, совершенно нелепо, от чумы. Теперь у меня остались только сны и обрывки воспоминаний.

– Ты был рядом? – спросила я дрогнувшим голосом.

– А сама как думаешь?

За хриплым дыханием Джордано мне послышался шепот матери: «Люби редко, но метко». Теперь я понимала, почему старик следил за мной, почему рисковал ради меня жизнью, почему сейчас не смотрел в глаза и не снимал длинноносую маску.

– Сними маску, Джордано! Прежде чем простимся, хочу на тебя посмотреть.

В лунном свете он казался древним стариком с ввалившимися глазами. Да это не лицо, а снова маска, трагичная от натужной улыбки и безглазая. Слезы текли из глазниц в глубокие складки по обеим сторонам рта. Я хотела обнять Джордано, но он отпрянул. Ласку он терпеть не мог.

– Прощай, Жюльетта! Уезжай отсюда поскорее. – Вот он, голос прежнего Джордано, строгий, источающий мудрость. – Спутников своих не ищи, так лучше им и тебе самой. Понадобится – продай мула. Для переездов выбирай ночи.

Я все равно обняла Джордано и, не ожидая ответа, поцеловала в лоб. Его одежда, как раньше, пахла серой, специями, химикалиями. Сердце сдавила тоска. Мой старый учитель содрогался всем телом. Отстранился он резко, почти зло.

– Каждая секунда на вес золота, – напомнил он прерывающимся голосом. – Уезжай, Жюльетта!

В устах Джордано мое имя звучало как скупая ласка.

– А ты? С тобой что будет?

Джордано слабо улыбнулся и покачал головой, как всегда, когда я, по его мнению, болтала ерунду.

– Ради тебя больше грешить не стану! Неужели забыла, что в шабат я сиднем сижу?

Джордано помог мне забраться на мула и хлестнул его по бокам. Мул бодро зацокал по утоптанной земле. До сих пор помню лицо Джордано в холодном свете луны, его тихое «прощай!», поступь мула по лесной тропке, запах пепла и последнее «шалом!». Казалось, голос Джордано доносится из моего тринадцатилетия, казалось, по пятам за мной следует моя совесть, аки глас Божий с горы.

С Джордано мы больше не встречались. Из Эпиналя я через Лотарингию отправилась в Париж, а когда живот сильно округлился, вернулась на побережье. Мешок со снедью опустел, еду пришлось добывать, и я по наставлению старого учителя продала мула. В переметной суме обнаружились пожитки из моей повозки, спасенные Джордано, – немного денег, книги, украшения, заваливавшиеся среди костюмов: дешевые стразы от драгоценностей не отличишь. Волосы я перекрасила, убоявшись, что выдадут. Я жадно ловила весточки из Лотарингии, но не слышала ни знакомых имен, ни слухов о новых казнях. Я жду до сих пор, точно время приостановилось, точно антракт растянулся на пять лет. Жду, что в один прекрасный день настанет кровавая развязка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.